

Андрей
МИРОНОВ



и Я
Роман-
исповедь



Татьяна
ЕГОРОВА

К 75-летию Андрея Миронова

Татьяна Николаевна Егорова Андрей Миронов и Я. Роман-исповедь

*Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9330911
Татьяна Егорова. Андрей Миронов и Я : роман-исповедь:
Эксмо; Москва; 2015
ISBN 978-5-699-78029-7*

Аннотация

Это откровенный роман о любви, о времени, о театре. О любви страстной, романтической и выстраданной. Татьяна Егорова выразительно передала атмосферу театра с его бесконечными интригами, фальшивыми улыбками, завистью, борьбой за лучшие роли и место под софитом. В этой книге вы встретитесь с личностями яркими и неординарными, которых судьба ставила в сложные, порой неоднозначные ситуации. Татьяна Егорова дополнила книгу комментариями, которые написаны с полным доверием к читателю. Вы держите в руках воспоминания, ставшие бестселлером...

6-ое издание, исправленное и дополненное

Содержание

Часть 1. Перо Жар-птицы	8
Глава 1. Репетиция любви	9
Глава 2. Большая медведица	16
Глава 3. Виктор	22
Глава 4. «Поедем, красотка, кататься!»	38
Глава 5. Мать Андрея – Мария Миронова	50
Глава 6. Отец Андрея – Александр Менакер	67
Глава 7. Война... родился сын!	79
Глава 8. Шагаю по арбату на свидание	108
Глава 9. Таинственные репетиции	119
Глава 10. «Желаю славы Я!»	132
Глава 11. Старый селадон	148
Глава 12. Мы должны сделать выстрел во французской опере	153
Глава 13. Брат Кирилл	164
Глава 14. Я «Выхожу замуж» назло	176
Глава 15. Коварство и любовь	184
Глава 16. «Доходное место» – триумф магистра	197
Глава 17. В доме Энгельгардта на новокузнецкой	211
Глава 18. Палки в колеса нашей любви	225

Татьяна Егорова Андрей Миронов и Я: роман-исповедь

Издание шестое, исправленное и дополненное

Дизайн переплета Юрия Щербакова

Фотопортрет Андрея Миронова на обложке: Валерий Плотников / Russian Look

Фотографии, использованные в оформлении книги, предоставлены автором из семейного архива

© Т. Н. Егорова, 2015

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо».
2015

* * *

В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ

**АНДРЕЙ МИРОНОВ
ТАТЬЯНА ЕГОРОВА**

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Акробатка – Нина Корниенко

Антурия – Людмила Максакова

Балерина – Майя Плисецкая

Бодя – Владимир Долинский

Ворон – Михаил Воронцов

Галоша – Татьяна Васильева

Директор – Александр Левинский

Драматург – Эдвард Радзинский

Жора – Георгий Мартиросян

Жорик – Георгий Менглет

Зеленоглазая Зина – Зинаида Плучек

Инженю – Наталья Защипина

Клара – Маргарита Микаэлян

Корнишон – Михаил Державин

Магистр – Марк Захаров

Певунья – Лариса Голубкина

Пепита – Наталья Селезнева

Пудель – Павел Пашков, муж Лили Шараповой

Русалка – Екатерина Градова

Сатирики – Аркадий Арканов и Григорий Горин

Синеглазка – Наталья Фатеева

Спартачок – Спартак Мишулин

Стукачка – Регина Быкова

Субтильная – Лиля Шарапова

Сценарист – Александр Шлепянов

Травести – Броня Захарова

Толич – Анатолий Папанов

Ушка – Владимир Ушаков, муж Веры Васильевой

Цыпочка – Вера Васильева

Чек – Валентин Плучек

Червяк – Александр Червинский

Шармёр – Александр Ширвиндт

Энгельс – Игорь Кваша

Часть 1. Перо Жар-птицы

Мария Миронова:

– Таня, что это я у вас на карандаше? Почему вы все за мной записываете?

– Перлы, перлы записываю, чтобы не забыть, а то все улетучивается!

– А зачем вам это?

– Произведение буду писать.

– О чем?

– О жизни.

– А что вы там напишете?

– Правду!

– Тогда уж пишите обо всех!

Глава 1. Репетиция любви

«Егорова, Егорова... Татьяна Егорова... приготовьтесь – ваш выход... Татьяна Егорова... ваш выход... на сцену с Андреем Мироновым. Не опоздайте», – произнесла Судьба голосом помощника режиссера Елизаветы Абрамовны Забелиной по трансляции. Я не вздрогнула. Динамик висел наверху в углу гримерной. Посмотрела на него и загадочно улыбнулась. В последний раз оценив себя в зеркале, резко встала, вышла из гримерной и смело пошла по коридору в сторону сцены.

Это произошло на гастролях в Риге 5 июля 1966 года в спектакле «Над пропастью во ржи» Сэлинджера. Андрей Миронов играл Холдена Колфилда, а меня, неделю назад покинувшую стены Щукинского театрального училища, за два часа до начала действия – в театре случилось ЧП – ввел своей талантливой рукой режиссер Шатрин. В роль Салли Хейс.

Коридор, по которому я шла, был длинный и темный. Текст я знаю наизубок, выгляжу прелестно, глаза блестят, и мне очень идет «американское» пальто с капюшоном, отороченным пышным белым песцом. И белые перчатки, и ноги, и каблуки...

Подошла тихо к кулисе и встала как вкопанная. На

освещенной сцене – Холден-Андрей... совсем рядом.

– Алло, Салли Хейс, пожалуйста... Это ты, Салли? Как живешь? Ты не могла бы сейчас повидаться со мной? – умолял меня со сцены Холден Колфилд и Андрей Миронов. Именно меня, а не Салли Хейс. Салли была уже ни при чем.

За два часа до спектакля, на репетиции, мы впервые познакомились. Репетировали нашу сцену. Обстановка деловая – мой срочный ввод, обязательное знание текста, траектория роли, атмосфера, состояние, действие. Артисты, играющие в этом спектакле, репетировали год, а я должна была все усвоить за два часа. Режиссер Шатрин был неожиданно ласков и в мягкой и игривой манере ввинтил в меня суть моей роли. Как положено по сцене в спектакле, мы сидим на скамейке с Андреем – он уже в десятый раз проговаривает свой текст, я – свой.

– До начала спектакля час. Думаю, все пройдет хорошо, – сказал Шатрин, давая понять, что репетиция окончена. Посмотрел на нас.

Мы сидим и не двигаемся, прижавшись друг к другу.

– До вечера! – опять откуда-то донесся его голос. А мы сидим на скамейке, прижавшись друг к другу, и не двигаемся.

– Ну, пока... – сказал режиссер, уходя.

Вдруг повернулся – мы сидим на скамейке, прижав-

шись друг к другу, и не двигаемся! Смотрим на него в четыре глаза. Он на нас в два и внезапно весь озарился улыбкой. По его лицу мы прочли все, что не осознали еще сами. Смутившись, встали, деловито поблагодарили друг друга, простились до вечера, до свидания на сцене. И разошлись.

Я все еще стою в кулисе. Внезапно на подмостках погас свет. Начались перестановки для следующей картины. Через минуту мой первый выход на профессиональную сцену. Машинально плотнее натягиваю белые перчатки. В сознании – шлейф вдохновения после репетиции, нетерпение – скорей, скорей к нему, с которым знакома всего два часа, и как еж под череп – мысль: почему мое первое свидание с ним, которое так перевернет всю нашу жизнь, должно состояться именно на сцене? На сцене театра оперы и балета в Риге? Почему?

– Иди! – громким шепотом опять сказала Судьба голосом Елизаветы Абрамовны Забелиной. И толкнула меня в спину.

Я как будто выпала из темного небытия в свет и наткнулась на одержимого американского мальчика в красной кепке с большим козырьком, с глазами цвета синьки. Холден бросился мне навстречу: «Салли, как хорошо, что ты пришла! Ты великолепна, Салли... Если б ты знала, как я ждал тебя!»

Он был так возбужден, что последнюю фразу повторил три раза, давая мне понять, что ждал не Салли Хейс, не актрису, исполняющую роль Салли, а меня, существо, которое ему вдруг стало близким и необходимым.

– Салли, Салли, я влюблен в тебя как ненормальный! – упорно повторял он, несколько раз до боли сжав мои руки. Это было уже совсем не по пьесе.

Тут я должна была встать – он меня не отпускал.

– Салли, Салли, ты единственное, из-за чего я торчу здесь! – Сколько скорби было в его голосе, скорби, которая таилась где-то глубоко внутри.

И вот конец сцены, моя реплика:

– Скажи наконец, что ты хочешь?

– Вот такая у меня мысль... У меня есть немного денег. Будем жить где-нибудь у ручья... Я сам буду рубить дрова. А потом когда-нибудь мы с тобой поженимся. И будет все как надо. Ты поедешь со мной? Ты поедешь?

«Куда угодно, закрыв глаза, за тридевять земель», – молнией пронеслось в моем сознании, а Салли Хейс ответила:

– Да как же можно, мы с тобой в сущности еще дети!

Это по пьесе, а в жизни мы были в самом зените расцвета. Ему было 25, а мне 22 года.

– Ты поедешь со мной? – умоляюще спросил Хол-

ден и уткнулся головой в мою грудь.

...Через двадцать один год на этой же сцене за кулисами он будет умирать на моих руках, бормоча в бессознании: «Голова... голова...» И, в последний раз закинув голову, голову, в которой беспощадно рвался сосуд, увидит мое лицо и два глаза, в которых мольба о любви, о спасении его, меня, нас всех. Увидит, запечатлеет и возьмет меня с собой. А здесь, на земле, останется совсем другая «Танечка». Она покинет театр, построит дом, станет жить у ручья и рубить дрова. Все, как он просил.

Ах, Сэлинджер, Сэлинджер, как вы врезались в нашу жизнь!

Наше свидание в Централ-парке кончалось конфликтом.

– И вообще, катись ты знаешь куда... – чуть не плакал Ходден.

– Ни один мальчик за всю мою жизнь так со мной не обращался. Оставь меня! – отчеканила я.

Конец сцены, мне надо уходить, а я стою, как в сказочном саду с Жар-птицей, осиянная волшебным ее светом. Очнулась от аплодисментов, как от пощечины. И так не хотелось покидать сцену и... Холдена. За кулисами артисты, реквизиторы, рабочие сцены по-

здравляли с первой ролью, с удачей, со «сногшибательным» вводом в спектакль. Приближается финал. Холден на сцене кричит, как будто рыдает: «Я буду ждать тебя в парке у пруда, где плавают утки!» И еще больше:

Если кто-то звал кого-то
Сквозь густую рожь,
И кого-то обнял кто-то,
Что с него возьмешь,
И какая нам забота,
Если у межи
Целовался с кем-то кто-то
Вечером во ржи.

«Господи, это же мои любимые стихи, Бернс, – думаю я. – «Дженни вымокла до нитки...»

Конец спектакля. Аплодисменты. Занавес. Улыбаясь, обращаюсь ко всем артистам: если кто хочет, заходите к нам в номер в гостиницу «Саулите». Отметим немножко. А что отметим, думаю я... Роль? Первую роль? Успех? Нет. Духовное потрясение, которое мы с ним сегодня испытали, таинственную и почему-то горькую близость и уже обреченную невозможность находиться друг без друга всю оставшуюся жизнь.

Через двадцать пять лет в Нью-Йорке буду бродить по окраинам Централ-парка, искать пруд, где плавают

утки, где мы так нечаянно влюбились друг в друга в минуты нашей первой встречи.

Глава 2. Большая медведица

В номере на четвертом этаже гостиницы «Саулите» толпились артисты. Гостиница была третьего разряда – на этаже общий туалет, душ и телефон. В моей комнате, окна которой выходили в каменную серую кишку, называемую двором, где круглые сутки орали кошки, как подарок судьбы торчала в стене облупленная старая раковина с краном, из которого текла только холодная вода.

Наташа... мы были едва знакомы. Она закончила вечернее отделение нашего училища, волею судьбы неделю назад, как и я, оказалась в Театре сатиры и моей соседкой по номеру. Жена Льва Круглого, известного эфросовского артиста. За четыре года учебы мы встречались на лестнице, в коридорах, в буфете, и она всегда привлекала к себе внимание – плоская фигура, на редкость со вкусом одета, с нестандартным лицом и занятным вытянутым носом. Она очень ярко играла в выпускном спектакле по пьесе Леонида Андреева «Дни нашей жизни» и надрывно и смешно пела романс «Когда всему конец...».

Рига поразила нас своей чистотой и готической романтикой северной архитектуры. Это был наш первый выезд на Запад. Первая встреча с Балтийским мо-

рем. Рынок удивил изобилием цветов и круглыми аквариумами для рыб, в которых плавали малосольные огурцы. Наташа купила розы, а я совершенно неожиданно для себя – георгины, к которым всегда была равнодушна и которые впоследствии невольно всегда будут сопровождать меня в самые главные минуты моей жизни.

Каждый день в близлежащем кафе мы поглощали по несколько порций взбитых сливок, пили коньяк с молоком – по-рижски – и загорали на песчаном побережье темно-синего моря.

Собираясь на гастроли, я купила на Арбате в магазине «Галантерея» небольшой бежевый чемоданчик.

Легкая промышленность в те годы хромала на обе ноги и была уродлива. «Вхожу в советский магазин – теряю весь гемоглобин!»

Социализм без друзей – что капитализм без денег. И я купила у подружки туфли. Белые, на маленьком каблучке, с перепонкой в виде буквы Т. Самым популярным в то время был польский журнал мод «Кобета». На дно чемодана я аккуратно положила вырванные из «Кобеты» страницы, на которых демонстрировались подвенечные платья. Я была невестой, и на осень была назначена свадьба. Свадьба – громко сказано, просто регистрация брака, так как при нашей студенческой нищете в такой важный день мы мог-

ли себе позволить только столик на четверых в каком-нибудь кафе. Так вот в этом чемоданчике оказались зубная паста, зубная щетка, немного белья, книжечка стихов Блока и розовое платье, холодного тона с белыми цветочками, нашитыми на груди. Цветочки были обвязаны белой шелковой ниткой с бледно-голубыми глазами посредине. Из того же журнала «Кобета» я слизала прическу – короткая стрижка «под мальчика», с густой челкой на лоб, пышный верх. По бокам волосы уходили за ушки и завитком возвращались обратно к щеке. Почему «ушки»? Потому, что это были ушки, а не уши.

Народные, заслуженные артисты и вся верхняя ступенька социальной лестницы Театра сатиры расположились в гостинице «Рига». Там же остановился Андрей со своим приятелем Червяком.

Они приехали из Москвы на машине Червяка. Тот не имел прав и оформил доверенность на Андрея. Червяк, сын известного драматурга, после архитектурного института окончил сценарные курсы и считался сценаристом. Гастроли, театр, артистки – на этот пароль клевала любая рыба мужского пола.

Итак, поздний вечер, 5 июля, мы отмечаем премьеру. В нашем номере банкет а-ля фуршет. Бутерброды, водка, вино... Дверь то и дело хлопает – кто-то входит, кто-то выходит. На рюмочку все летят. Я в розо-

вом платье с завитком на щеке и без надежды сегодня вечером увидеть его. Его нет. А есть мои сокурсники – подруга Пепита, длинная, с красивым лицом, как у куклы, и психопатический наш товарищ Бодя. Мы все одновременно влились в театр как молодое вино в старые мехи. Пепита сегодня впервые сыграла Пегги в «Над пропастью во ржи», получила одобрение режиссуры и, с удовольствием разложив длинные ноги на кровати, курила сигарету. Бодя еще ничего не сыграл, пил водку и сосредоточенно, в привычной ему манере грыз ногти, прикрыв глаза и нервно щелкая зубами. Уже дошли до кондиции, когда можно начинать читать стихи. Наташа встала у окна и начала Пастернака, «Марбург»:

Я вздрагивал. Я загорался и гас.

Я трясся. Я сделал сейчас предложение.

Потом я выскочила на середину и в радостном отчаянии (наверное, он не придет) почти запела Блока:

Гармоника, гармоника,

Эй, пой, визжи и жги!

Эй, желтенькие лютики,

Весенние цветки!

И когда я дошла до строчек «...там с посвистом, да

с присвистом гуляют до зари!», внезапно открылась дверь и вошел он. Мы смотрели друг на друга с изумлением. Я – от неожиданности, что он все-таки пришел, а он оттого, что попал как раз в момент, когда меня крутило в воронке поэзии:

С ума сойду, сойду с ума,
Безумствуя, люблю,
Что вся ты – ночь, и вся ты – тьма,
И вся ты – во хмелю...

Выплеснув канистру эмоций, я смущенно посмотрела на него. «Пришел, увидел, победил!» – стоял он с таким видом. Самоуверенный, веселый, знающий себе цену. В нем не было и тени того Холдена со скорбными нотами в голосе, которого я видела на сцене два часа назад.

Червяк просочился в дверь мягко и вкрадчиво с двумя пакетами в руках. В пакетах – вино, печенье, конфеты. Наташа быстро сочинила новую партию бутербродов, и пошло второе дыхание. Андрей все время стучал ногой, отбивая только ему известный ритм, наливали, смеялись, наливали... Кошки на «дне кишки» орали таким душераздирающим криком, что Андрей спросил:

– Как вы здесь спите?

– Это они на тебя так реагируют, – пошутил психо-

патический Бодя. – Когда тебя нет, здесь тихо.

– Так... – встал Андрей. – Вы видели, как читает косой? Нет? Не видели?

Он взял с тумбочки книгу в правую руку, раскрыл ее и завел руку с книгой за ухо, скосил глаза к носу и через небольшие интервалы левой рукой переворачивал страницы.

У Пепиты от смеха свалились с грохотом на пол ноги. Бодя смеялся, как будто икал. Уже светало.

Андрей встал и тихо сказал мне: «Пойдем!» И мы пошли. Вдвоем пулей спустились с лестницы, открыли двери гостиницы – вставало солнце. Мы бросились бежать вверх по гулкому переулку. Червяк пытался нас догнать, что-то кричал, потом махнул рукой и свернул в сторону своей гостиницы. Мы добежали до театра и выскочили на бульвар. Кругом цветы. Четыре часа утра. Пустая Рига. И ивы плавно покачивали своими длинными ветвями. Мы прыгали по клумбам, схватившись за руки в экстазе вдохновения, и он кричал на всю Ригу: «Господи, как она похожа на мою мать!»

Утренняя заря как с картины эпохи Возрождения, Аврора розовая с факелом и двумя амурами стояла перед нами. Мы обвились длинными ветками ивы и застенчиво поцеловались.

Глава 3. Виктор

Начались репетиции. Худрук – будем называть его Чек – был напоминанием о том, что за все надо платить... и желательно чеком на очень большую сумму. Ему было 57 лет. Нам он казался глубоким стариком. Чек занял меня в новом спектакле по пьесе Фриша «Дон Жуан, или Любовь к геометрии».

Роль небольшая, где я постоянно повторяла одну и ту же фразу: «Как кричат павлины!» В черной юбке я скользила по паркету репетиционного зала, якобы испанской ночью, настороженно глядя то в одну, то в другую сторону, повторяя с разной интонацией: «Как кричат павлины!» Чек проходил эту сцену со мной много раз. Я ему нравилась, и он продлевал минуты удовольствия. Кончилась репетиция, стоим у дверей театра с актрисой, проходит в одежде цвета салата корпулентная дама, пышная блондинка, переваливаясь, как утка, с одной ноги на другую. Это заведующая литературной частью Марта Линецкая. Прошла мимо. Мелкой трусой с чуть согнутыми коленями, мысленно во что-то устремленный, прошел бледный патриций с римским профилем. «Магистр», – подумала я.

– Наш новый молодой режиссер, – шепотом объяснила актриса. – Хотел жить честно, поставил на эту

тему спектакль, Чек пригласил его в наш театр... – И добавила: – Он был в больнице, что-то с сердцем, говорят, жена, поэтому позже приехал, но он уже очень известный!

А это – Папанов с женой, Менглет...

Появилась Пепита. Мы купили клубнику в маленьких кульках из газеты и, взяв друг друга под ручки, пошли в кино смотреть «Любовь под вязами» с Софи Лорен. Любовь под вязами и под ивами воодушевляла на подвиги – я стала мечтать о белых брюках. В те времена эта мечта казалась больной фантазией. Но любовь под ивами вызвала непреодолимое желание прикрыть свое «голое» тело белыми и только белыми брюками. Они мне мерещились на каждом углу. И на углу в комиссионке мечта материализовалась. Случайно сняла вешалку, на ней они! Американские брюки в рубчик и верхушечка без рукавов, сзади на пуговицах – сшита так, что виден голый живот. И стоит одиннадцать рублей! Под этот наряд я добыла белую майку в синюю полоску, у Наташи выпросила пушистую в петельках черную кофту с открытым воротом, влезла в белые брюки и с облегчением вздохнула. Унижение от бедности сплеталось с самолюбием, которое ныло, как больной зуб, ночами врывалось в сны, показывая свои страшные когти. Теперь я почувствовала себя королевой, и когти в снах уступили ме-

сто воздушным шарам и полетам над пересеченной местностью. Я летала над латышским ландшафтом в своем новом обмундировании, которое досталось мне в трудном бою и которое пополнило мой бежевый небольшой чемоданчик и чувство уверенности в себе.

Мой старый друг! Бежевый чемоданчик! Ты жив и по сей день. Каждую весну я встречаюсь с тобой на своей даче в глубинке России, открываю и недоуменно смотрю на аккуратно лежащие на дне листки, тридцать два года назад вырванные из журнала «Кобета», на которых красивые польские женщины демонстрируют подвенечные платья.

От экстаза, который охватил нас при первой встрече, невозможно было отделаться, а наоборот...

Стук в дверь – Таня, Егорова, к телефону!

Вышла в коридор гостиницы, взяла трубку, слышу: «Алле, через тридцать минут спускайся вниз, я за тобой заеду». И гудки. Господи, а у меня голова... не готова к встрече. Бросилась в душ – занято. В номере, перевернув все и не найдя шампунь, высыпала в ладонь горсть стирального порошка и под краном ледяной водой вымыла голову.

Через тридцать минут в белых брюках, в черной пушистой кофте и в белых туфлях, с накрашенными глазами, с прической – завиток к щеке, в жемчужных

серьгах в виде слезы – конечно, бижутерия – я стояла у дверей гостиницы. Он подъехал, открыл дверь, я села в машину и спросила:

– Куда мы едем?

– В «Лидо».

– А что это такое – «Лидо»?

– Это ресторан на взморье. – И засмеялся.

Ему нравилось, что я – совершенно неискушенная в этих вопросах. Проехали Даугаву и выскочили на шоссе в сторону побережья. Я сидела и крутила носком в туфле с перепонкой в виде буквы Т. Меня переполняли эмоции.

– Хочешь анекдот? Приходит грузин в магазин: «Дэвушка, у вас есть мило?» – «Нет». Грузин отвечает: «Очень мыло». – И первый залился смехом. – Тебе очень идет черный цвет.

Я довольно улыбнулась и закачала ногой в белой туфле в такт рифмам, которые крутились у меня в голове. С детства я пропадала на страницах поэзии – Пушкин, Блок, Ахматова, Цветаева, Есенин, Кольцов... В эти дни я вся цвела стихами и на его комплимент ответила:

– А тебе идет скорость, на которой мы сейчас едем... «Мой милый, будь смелым и будешь со мной, я вишеньем белым качнусь над тобой. Зеленой звездой с востока блесну, студенной водою...» Кстати, ка-

кая звезда на востоке? Зеленая?

– Мне нравится, что ты стихи читаешь.

– Андрюш, когда ты играешь Присыпкина... очень смешно... Нос долго отклеиваешь? Ты играй без носа... у тебя в этой роли нос в характере.

– Да, может быть, – сказал он, задумавшись. – Я видел тебя в Москве на показе в театре... вы дуэтом пели французскую песенку...

– Да, «Шоша ля мароша» – жареные каштаны, – ответила я.

– Твой партнер... он тоже с вашего курса?

– Да, – сказала я, быстро пропуская эту тему. – А я тебя видела в «Проделках Скапена», когда ты упал в оркестр.

– Ты была на этом спектакле?!

– Да! И опять выпрыгнул на сцену, как мячик. Под аплодисменты. А что такое – космополит? – вдруг спросила я.

– Это тот, кто космы палит.

– Кос-инус, кос-мополит. Что это за частица «кос»?

Подъехали к «Лидо», вошли в ресторан – он был полон людей и музыки. Нас посадили за столик возле эстрады с оркестром. Мы что-то заказали, пытались говорить, но оркестр гремел так, что, глотнув шампанского и посмотрев друг на друга, мы засмеялись до слез. В паузе мы быстро условились, что, мол, ко-

гда музыка опять грянет, наперегонки будем сочинять слова с первым слогом «кос». Оркестр грянул – ударник по нашим головам, тарелки, труба – по барабанным перепонкам. И чтобы прорваться сквозь конницу диких звуков, я первая закричала:

– Кос-метика!

Он за мной:

– Кос-халва!

– Кос-мос!

– Кос-тыль!

– Кос-тюмчик!

– Кос-тер!

И уже совсем охрипшим голосом «Кос-шмар!» крикнул он и вытащил меня из-за стола. В «музыке» наступила пауза, вышла певица в блестках и, изгибаясь, как змея, запела: «Отыщи мне лунный камень, талисман моей любви».

Мы впервые, никого не стесняясь, крепко обнялись, под «просьбу» певицы влились в танец. Было душно – или мы задыхались от счастья, тесно – или нам все мешали...

– Я люблю тебя! – вырвалось у меня совершенно неожиданно. – Я тебя люблю! – вдохновенно повторила я.

Он сжал меня до боли в ребрах и в ухо прокричал:

– Салли, я влюблен в тебя, как ненормальный! Ты

единственное, из-за чего я здесь торчу.

Через несколько минут мы неслись в машине по шоссе. Была темная ночь, он жал на газ, а я читала: «Я ехал к вам, живые сны за мной вились толпой игривой, и месяц с правой стороны сопровождал мой бег ретивый...»

– Это кто? – спросил Андрей.

– Пушкин.

Свернули в лес. Проехали некоторое время в глубину и встали. Вышли из машины. Вокруг темные очертания сосен. Я сняла туфли. Ноги ступали по теплой хвое, лежавшей на земле, потом они утонули в прохладном мху, и я почувствовала запах воды. Перед нами тихо лежало ночное озеро. Мы разделись и пошли в воду, как будто совершая древний обряд. Потом лежали на берегу и смотрели в небо.

– «Окрай небес – звезда Омега. Весь в искрах – Сириус цветной, над головой – немая Вега», – шептала я.

– Видишь Большую Медведицу? Ковшик? – сказал таинственно Андрей. – Запомни это на всю жизнь. Может быть, у нас более счастливой минуты не будет. – Засмеялся и добавил: – Сейчас я мысленно наполню для тебя этот ковш шампанским, и, когда я умру, ты, глядя на этот ковш, будешь пьянеть от шампанского и плакать обо мне.

Была полная луна и такая тишина, что в тот миг тишина казалась самой великолепной из всех творений Бога.

– Обними меня, – как-то жалостливо попросил меня Андрюша. – Луна высасывает душу.

Я обняла его, он меня, и, укывшись какой-то попной, мы погрузились в сон.

Проснулись одновременно – нос к носу. Улыбнулись. В глазах его таился вопрос – как мы теперь будем... и какую октаву взять после сегодняшней ночи. Светало. Было холодно. Из-за озера вставало солнце. Чтоб определить «октаву», я вскочила, побежала голая к озеру и бросилась в воду! Он за мной.

– Кос-шмар! – кричал он, обрушивая на меня ливни воды.

Я смеялась, падала навзничь, выныривала с мокрой головой, опять ныряла... Мы были совсем не те, что вчера, – мы стали сильнее и счастливее. Мы играли, толкая друг друга в воду так, что сверкали одни только пятки, но я заметила, что в его жестах появился новый оттенок – чувство собственности.

Въехали в Ригу розовым ранним утром. Я вышла на углу своей гостиницы, помахала ему рукой, открыла дверь и стала на цыпочках подниматься на четвертый этаж.

...Однажды утром сговорились ехать на пляж в Лиелупе. Червяк ходил кругами вокруг Пепиты. И вот мы на пляже. Белый песок, над головой кричат чайки, и широкая и вольная река Лиелупе торжественно впадает в море. Мы – загорелые, красивые, в купальниках нежимся на горячем песке. Червяк болтает с Пепитой, пересыпая из своего кулачка песок в ее ладонь. Андрей ходит вдоль кромки моря и смотрит вдаль. Я смотрю на него. Недалеко от нас сидит на песке женщина – в трусах, без лифчика, с пергидрольными волосами, на руке мужские часы. Встала и, качаясь, видать под градусом, пошла в море. А море – по колено. Поплыла... Теперь уже Пепита из своего кулака пересыпает песок в ладонь Червяка, Андрей впился в горизонт, а я... полна грез. Лежу и рисую в своем воображении его выгоревшие волосы, брови, глаза, нос и так мне полюбившиеся широкие и крепкие запястья.

– Червяк, куда это отдыхающая с голой грудью исчезла? – нервно, с повышенной интонацией заметила Пепита. – Уже минут двадцать, как ее нет ни в воде, ни на пляже.

Мы встали, осмотрели вокруг себя пляж, искали ее глазами в воде, окликнули Андрея и все вместе пошли к морю. Ее тело легкой волной прибило к берегу.

– Утопленница! – закричала Пепита.

Андрей почему-то надел носки и бросился бежать – искать телефон, вызвать «Скорую». Мы вытащили ее из воды. Червяк и подбежавший Андрей стали делать ей искусственное дыхание. Мы с Пепитой стояли поодаль и смотрели на все это с ужасом. Приехала «Скорая». Засвидетельствовали смерть, положили на носилки, накрыли брезентом и увезли. Мы молча сидели и смотрели на носки Андрея – они были в огромных дырах от истовой беготни по асфальту. В дурном настроении сели в машину и поехали обедать. В дороге, открывая свой пухленький ротик, Пепита вспоминала подробности случившегося:

– Нет, ну помните, она же без лифчика пошла в море... а выплыла... уже вся синяя... Андрюш, ты видел, какая она синяя была? Синяя-пресиняя... глаза выпученные... и всего за двадцать минут...

– Пепита, прошу тебя, перестань, – с боязливым отращением остановил ее Андрей.

А я вспомнила Пушкина: «Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца».

– Нет, ну, Червяк... Тань... утопленница на наших глазах в пяти метрах, а там по колено... ой, рот открыт, и оттуда вода идет.

– Прекрати сеанс садизма, – оборвал ее Червяк.

Но кукольное личико продолжало ввергать всех в мучительные воспоминания, так внезапно ворвавши-

еся в нашу жизнь, воспоминания некрасивой и пугающей смерти. А я, уверенная в приметах, все задавала себе вопросы – что это? Это не просто так, это знак... Господи, что ты хочешь этим сказать?

Рига, Рига! Рядом с гостиницей на углу улицы Баха было маленькое кафе самообслуживания. Там мы с Андреем всегда ели рисовую кашу, котлеты и пили кофе с молоком из огромного котла. Кафе было жалкое – столики с пластмассовым верхом на тоненьких ножках из алюминия. Уборщица ходила с рваной сырой тряпкой, агрессивно вытирала стол перед нашим носом, невзначай попадая кончиком своего орудия производства в тарелку. Нам этот тридцатикопеечный обед казался сказочной трапезой – мы были вдвоем, и маленькие знаки внимания – он разламывал кусок хлеба и половину давал мне – придавали этой трапезе особый мистический смысл.

Теперь на месте этого кафе – роскошный отель «Монтес». В отеле журчат по камням ручьи, плавают рыбы, переговариваются между собой разноцветные попугаи, благоухают цветы, вышколенные официанты спрашивают: эспрессо или капучино?

Как-то сидим с Андрюшей в его номере в гостинице «Рига». Пьем кофе.

– Хочешь чего-нибудь сладенького? Пирожные?

– Хочу... пожалуйста...

И он побежал в буфет на своем этаже за сладким. Только он закрыл за собой дверь, я поднялась со стула, оглянулась вокруг – в голове мелькнула идея. Я вскочила на подоконник и плотно задвинула перед собой шелковые золотые занавески. Качающейся походкой вошел Андрей, положил пирожные... заглянул в ванную...

– Таня! – крикнул он. – Ты где? Танечка! – звал он меня с отчаянием. – Ты где, Танечка? Где ты?

Он метался по номеру, а я стояла не шелохнувшись на подоконнике за занавеской и подглядывала за ним в щелку. Он выскочил в коридор, как дятел повторяя: «Танечка, Танечка, где ты?» Вернулся. Сел. Положил голову на руку. Тут я резко раздвинула занавески, застыла в позе Ники Самофракийской. На его лице было такое смешение отчаяния и счастья, что мне стало немножко стыдно оттого, что я заставила его мучиться. Он поднял меня с окна, усадил на стул и срывающимся голосом попеременно с поцелуями говорил: «Я так испугался... вдруг... где ты? сумасшедшенькая... пропала... Мне так стало страшно, что я тебя потерял... и пирожные, дурак, зачем-то купил... Главное, что ты здесь... ешь...»

После этого мы тихо пили кофе с пирожными. Я качала ногой, положив ее на другую ногу, он открыл кран

в ванной – ему нравился звук текущей воды, – и мы попали в какое-то другое измерение, где не было ни материи, «ни женского пола, ни мужского», только мелодия, напоминающая музыку Баха, нисходила на нас, вскрывала какую-то боль в недрах души, залечивала ее и так же внезапно, как снизошла, исчезала.

Панорамное зеркало. Оно висело в машине так, чтобы мы, а я всегда сидела за спиной водителя – Андрея, могли встречаться глазами в этом зеркале и передавать друг другу сигналы о том, что... да, да! Люблю! Эти сигналы улавливали только мы, среди всех тех, кто набивался в машину. Это были и Червяк, и Пепита, и Бодя. В свободное время, когда у нас не было репетиций, мы колесили по красивым маленьким латышским городкам. В Тукумсе пили кофе и ели творожники с корицей. В Талси ели суп с тмином, чечевичу и кисель со взбитыми сливками. Вечерами после спектаклей мчались на взморье. У шлагбаума Бодя открывал окно машины и, высунув голову, страстно кричал стоявшему перед ним латышу, думая, что он не понимает по-русски: «Мимо тещино дома я без шуток не хожу, то вдруг хрен в окно просуну, то вдруг жопу покажу!» На слове «жопа» шлагбаум поднимался, машина трогалась, а Бодя, вывернув шею, докрикивал в окно регулировщику в исступлении: «Жопу по-

кажу, жопу покажу!»

Через десять лет Бодя будет стоять перед судом за «валютные операции». Он обменяет советские рубли на семьдесят итальянских лир, отсидит в застенке, будет рубить деревья в глуши на лесоповале и потом опять вернется на сцену.

А пока мы резвимся на берегу моря, бегаем по песку, темнеет, пьем вино с печеньем, чья-то рука волнуяще касается другой руки, поцелуи в кустах и небезобидная игра в салочки... Кто кого догонит, тот и не выпускает...

По дороге в Тукумс остановились в поле с только что сложенными небольшими стожками сена. Бросились к ним. Андрей толкнул меня в стог – лежу как будто мертвая. Притворяюсь.

– Танечка, ты умерла? – спросил он меня, хватая за ноги.

Я открыла глаза – надо мной синее небо. Он меня тащит со стога за ноги, а я ору:

И лишь в редчайшие мгновенья
Вдруг заглядишься в синеву
И повторяешь в изумленье:
Я существую, я – живу!

Стали нырять в стога. Андрей разгреб середину, захватил меня с собой на дно, закрылся сверху охап-

кой сена, и началась такая возня – писк, крик, щекотки... Стог прошел с нами два шага, развалился, и мы вышли из него обвешанные сеном, как оперившиеся птенцы. Я с одной серьгой. По обочине дороги пылали маки и васильки.

Но, как известно, природа требует баланса. И маятник качнулся в другую сторону. В середине июля в дверь постучали. Я открыла. На пороге стоял Виктор.

– Приехал на машине с друзьями... золотой загар у тебя... как хорошо ты выглядишь... наконец-то мы вместе.

Я слушала эти слова и не понимала, ни кто их говорит, ни к кому они относятся. Смутно в голове мелькнул бежевый чемоданчик с картинками, на которых изображены подвенечные платья. Руки обнимают меня, словно статую. Все сквозь туман.

– Поедем на дачу... на взморье. Они ждут нас, – сказал Виктор.

– Сегодня нет, завтра... – сказала я сухо.

Вечером на спектакле подхожу к Андрею и говорю: приехал мой жених. Завтра с ним уезжаю на взморье к друзьям. Тогда я еще не знала, что именно «неправильность» поведения служит самым верным средством вызвать сильную любовь.

Три дня прошли, как три года. Я не сказала Ви-

кто́ру «нет» и уехала с ним на взморье. Это была экзекуция и для него, и для меня. Эта встреча вызвала у меня сотрясение мозга, сердца, печени, легких и всех остальных органов, фигурально выражаясь. Андрей в бешеном состоянии открывал и закрывал двери машины перед всеми девочками Риги и Рижского взморья на глазах у любопытной труппы. Через три дня я поняла, что моя прежняя «такая большая любовь» превратилась в пепел. Жених и девочки как появились, так и исчезли. Нас непреодолимо тянуло друг к другу. И опять я сидела на заднем сиденье машины, и опять мы встречались глазами на территории панорамного зеркала, и эта маленькая территория панорамного зеркала заполнялась в дороге картиной несказанного сада любви, где порхали и трепетали ресницами два голубых и два карих глаза.

Кончались гастроли. Спектакль «Над пропастью во ржи» поехал дальше на неделю в Вильнюс, а оставшаяся труппа – в Москву! В Вильнюсе мы опять гуляли вчетвером, и, проходя мимо собора Святой Анны, я сломала каблук... и заплакала. Я рыдала так, как будто у меня стряслось большое горе. И себе я тогда не могла объяснить, что горе-то было в том, что мы возвращаемся в Москву! И там все будет по-другому! И никогда, никогда, никогда в жизни не вернется это неправдоподобное лето.

Глава 4. «Поедем, красотка, кататься!»

Москва! У Рижского вокзала сажусь в такси и говорю: «На Арбат, пожалуйста, Трубниковский переулок, дом 6, квартира 25. Третий этаж».

Таксист настороженно посмотрел на меня, но поехал. Открыла дверь. Вошла в коридор коммунальной квартиры. Паркет, как всегда, натерт до блеска, на стенах висят два, с пальцами во рту, гипсовых амура, а на старинной вешалке наверху стоит кудрявая голова античного героя. Одна соседка терпеть его не могла, назвала «Пушкин-отец» и всегда бросала ему «в лицо» едкие реплики матерного свойства.

Вошла в свою комнату, поставила на пол бежевый чемоданчик. Грустно осмотрелась. Был сильный ветер – в окно бились листья тополя, легла на диван и почувствовала себя изгнанной из рая. В сознании появилась какая-то зыбкость, я умалялась в своих глазах – становилась все меньше, меньше и меньше... и неинтересней. Мать на даче со своим мужем «Димочкой», и слава богу! Неприятный толчок от этой мысли... С трудом остановила надвигающийся globus-isterikus и стала разбирать чемодан. Позвонил Виктор – с дружественным чувством, пропуская историю с

Ригой, рассказал, что достал новые пластинки Шарля Азнавура и что можно послушать... Позвонил Андриюша. «Аллё, как ты доехала? Родители на гастролях, мне надо съездить на дачу. Поедешь со мной?» Тут мое сознание обрело прежнюю крепость, я тут же выросла в своих глазах, крутанулась у зеркала и во все горло запела:

Окрасился месяц багрянцем,
Где волны шумели у скал.
Поедем, красотка, кататься,
Давно я тебя поджидал!
Я еду с тобою охотно,
Я волны морские люблю,
Дай парусу полную волю,
Сама же я сяду к рулю!

И пошла в ванную.

Дача. Пахра. Писательский поселок. Здесь живут все знаменитости Москвы. Приехали на машине Червяка, но уже с другим другом. Варшавским. Варшавский – врач, скромный, в очках и совсем не того психического строя, как мы – артисты. Открываем калитку, входим в сад. В глубине сада виднеется небольшой одноэтажный дом. Он напоминает дом из сказки «Синяя птица». Оконные рамы, выкрашенные в крас-

ный цвет, фонарики, красиво уложенные камни на месте фундамента. Дверь на террасу тоже красная. Перед домом благоухают «плантации» розовых и белых флоксов, среди которых, как сторожевые, стоят маленькие голубые елки. Я понимаю, что Андрей показывает мне свои владения, а меня – своему другу Варшавскому, и поэтому стараюсь вести себя прилично и сдержанно. А в доме?!! Все стены кухни в разноцветных досках. Смешная доска – солдат в царской форме с ружьем, рядом жена с большой поварешкой в руке. За хвост они держат большой репчатый лук, и надпись: «Лук добро в бою и в щах», тут и птица Сирин, приносящая счастье, и дед и баба у самовара пьют чай, и везде пары, пары, застолья, расписные самовары, доски с яркими цветами и спелыми вишнями. Часы-кукушка. Занавески в клетку – синюю с белым. На диване – вверх углом атласные красные и синие подушки. Деревянные столы и стулья с резными спинками. На каждом стуле – вязаная подушечка. Камин. На нем – стая черных котов, собачки, розовые свиньи, павлины. В спальне у родителей иконы, расписные деревянные коробочки, крашеные петухи и матрешки. Онемев от этой густой прелестной игрушечности, я подумала: «Однако какой кудрявый ум у его мамочки».

У нас на даче в Кратове все было по-другому. Дача

в два этажа – бестолковая, неудобные комнаты, некоторые без окон. Туда, на дачу, как все москвичи, родители везли все, что приходило в негодность, – прогнутые матрасы, ржавые кровати, сломанные стулья, старые одеяла, негодную посуду и обязательно не доношенные предками, проеденные молью драповые пальто с меховыми воротниками.

А здесь был другой уклад, другой мир, и двери для меня в этот мир еще не были открыты. Здесь я впервые почувствовала, что мы с Андрюшей сидим на разных социальных веточках.

Было жарко, пять часов вечера. Из комнаты вынесли стол на открытую веранду, где из одного корня неразлучно росли две сосны. Андрей принес из дома пятилитровую бутылку настойки.

– Рябиновая! Только мама умеет так классически настаивать ее!

Я нарвала розовых и белых флоксов и опустила в желтый керамический кувшин с водой. Закуска была «сдержанная», а настроение – наоборот.

– Танечка, станцуй что-нибудь из капиталистического мира! – попросил Андрей, предвкушая удовольствие. Он знал, что во мне жили духи танца и что я была жертвой ритма.

Я ускользнула в комнату, переоделась в купальник – обещал, что будем купаться в Десне, – туфли на

каблуках... и где-то подсознательно созрело решение поколебать это буржуазное гнездо, тихонько вышла на веранду, села на стул, сказала, что, мол, жарко уж очень, поэтому переделалась... Съела четверть помидора, прозаически процитировала Пастернака:

Я дал разъехаться домашним,
Все близкие давно в разброде...

Пожевала огурчик, продолжая:

Я так же сбрасываю платье,
как роца сбрасывает листья, —

перефразировала я, выпила рюмку водки, вскочила на стол и стала самозабвенно отбивать чечетку и дробь, да так, что затряслись все листья в саду.

Мужчины изумленно смотрели на меня... со стола что-то падало и звякало об пол, слетела тарелка с овощами – вдребезги, а я продолжала отстукивать каблуками, стоя на столе, изображая, как нам тогда казалось, сцену из незнакомого капиталистического мира. Потом пили чай. На столе из опавших лепестков розовых флоксов я выкладывала своими наманикюренными пальчиками заветное имя – Андрей. Он сидел напротив, поэтому буквы ложились по отношению к нему вверх ногами. Когда я положила последний ле-

песток на букву «й» – Андрей доверчиво улыбнулся, вдруг заморгал грустными глазами и неожиданно порывисто поцеловал мне руку.

Решили остаться на даче до завтра. Варшавского проводили по дороге к автобусу. Понравилась я в этот день Варшавскому или нет – не знаю, но Андрею понравилась очень. Мы легли спать в его маленькой комнате на желтом диване, как всегда обнявшись, лицом друг к другу... и, потеряв контроль, он наговорил мне столько нежных и пылких слов, что я, естественно, как сосуд, заполнилась этими пылкими нежностями и тут же принялась возвращать это чудесное содержание обратно с оттенком невыразимой благодарности. Тикали часы, в темном окне шевелились ветки сирени, и его «я люблю тебя» повторялось столько раз, что длину этих слов можно было уже мерить километрами. Проснулась на рассвете от ощущения счастья... и пыталась удержать в сознании, в памяти аромат ощущений... слова... прикосновения... но они расползались, рассеивались, как туман, оставляя только древо памяти, как разобранную после Рождества елку. Две розовые сойки сидели в кустах сирени и с болезненным женским любопытством заглядывали в наше окно. Пошли гулять в лес. Андрей сказал, что через неделю уезжает в Крым, на Золотой берег – отдохнуть. Приедет к открытию сезона. Идем тропинкой,

вдруг он останавливается у березы, закрывает глаза и говорит, жестикулируя руками:

– У меня был такой роман... страшно вспомнить... такая любовь... Я весь дрожал... С киноартисткой... Ее все знают... С Синеглазкой. Вот у этой березы мы так целовались... У нее такая фигура! Я ей чистил белые туфли молоком.

У меня от такого поворота набухли глаза от слез, я сорвала тростинку и стала нервно ее жевать.

– Что с тобой, Танечка, ты ревнуешь? Что с глазками, ты нервничаешь? – пытал он меня, довольно улыбаясь.

– Я не ревную...

– Ревнуешь, ревнуешь... тебе больно? – и засмеялся.

Да, думаю, не переставая жевать тростинку, интересное свойство у моего... тут мысль прервалась, сделала пропуск и продолжила – свойство жалить и причинять боль. Совсем не в ответ на эту причиненную боль я заметила:

– Андрюша, ты сутулишься, у тебя как-то голова уходит в плечи... выпрямись-ка!

Через неделю на Петровке в квартире родителей я помогала ему собирать чемодан на юг. Квартира опять изумила меня – немосковским стилем, изобилием безделушек, фигурок, статуэток, коллекционных

тарелок на стене. Библиотекой! И конечно, я с уважением смотрела на рояль, который подарил Дунаевский отцу Андрея Александру Семеновичу Менакеру. Это был 1966 год. Все помойки вбирали в себя антикварные вещи, безжалостно выбрасываемые нерадивыми хозяевами, – старинные люстры, красного дерева столики, стулья, кресла... И все это с большим ажиотажем заменялось лампами-рожками, бухгалтерскими стульями и полированными шкафами. Здесь, на Петровке, царил разум и антиквариат – хрустальная люстра с синим кобальтовым стеклом – «Александр», круглый стол красного дерева, стулья «Павел», бесценные литографии и гравюры с видами старого Петербурга. На диване лежали журналы «Америка» и «Новый мир». Для меня это действительно был мир новый.

Включив кран в кухне, чтобы текла вода, Андрюша складывал вещи, постоянно спрашивая меня: надо ему это взять или не надо? А я тайком писала на маленьких клочках бумаги напоминание в южные края – «Не сутулься!» – и незаметно вкладывала эти записочки в каждую вещь, которая ложилась в чемодан, – в рубашки, майки, трусы, носки и носовые платки. Я была спокойна – он едет вместе со мной. Вышли на улицу, он поймал такси, поцеловались. «Я тебе позволю!» – и уехал.

Через несколько дней я слушала пластинки в исполнении Шарля Азнавура. Сосед по квартире, Балбес, то и дело трубил мне:

– Танька, тебе тут звонят каждый день по междугородному, я сказал, что ты с Витькой ушла.

– Идиот! – швырнула я ему в лицо и хлопнула перед его носом дверь.

Поздравляем... поздравляем... поздравляем... Чмок, чмок... чмок... При-и-иве-ет! Ты?! Ну и цвет волос! Как отдохнули? Мы работали... Не подходите к Аросевой... Купим шампанского? А-а-а... Жорик... здравствуйте! Целуйте! Все в зал, все в зал!

Это открытие сезона в Театре сатиры называется Иудин день. Нарядная масса перемещается в зрительный зал. Худрук Чек и несколько его фаворитов во главе с директором – на сцене. Вступительная речь Чека что-то вроде: «Я – ученик Мейерхольда... мы несем знамя культуры, интеллигентность, порядочность... К Новому году мы должны сдать новый спектакль «Дон Жуан»... Я буду строг... буду требовать от вас культового отношения к делу»... И потом повторяющаяся уже все остальные годы поговорка: «Лошадь можно подвести к водопою, но заставить ее напиться, если она не хочет, невозможно».

Для меня это первое открытие сезона, и я все вос-

принимаю трепетно и серьезно. Кручу головой во-круг... Андрей! Прошел мимо меня, небрежно поздоровался, глядя поверх головы. «Ну и пожалуйста!» – сказала я про себя.

Меня внимательно рассматривала артистка – маленькая, с пышной головкой и правильными чертами лица. Инженю. Она не была на гастролях – кормила ребенка грудью. И тут я услышала доносящийся из кучки артисток вопрос этой Инженю: «Ну-ка, где эта самая Егорова? Хочу посмотреть!» Меня передернуло. Я поняла, что тут не без амурных дел с Андрюшей. Но и представить себе тогда не могла, сколько больших неприятностей устроит мне эта маленькая женщина.

Начались репетиции. Дон Жуана – главную роль – репетировал Андрей, Миранду – хорошенькая фаворитка Чека. Почти каждый день мы встречались в БРЗ – большом репетиционном зале. Продолжалась «холодная война». Он делал вид, что не замечает меня, а я не замечала его. Иногда в голову закрадывались дезертирские мысли: а что, если он встретил другую – на юге, или где-нибудь в гостях, или на теннисе, и я ему больше не нужна. Но внутри какой-то тенор пел – нет! Этого не может быть! Этого не может быть! Это все – Шарль Азнавур!

Однажды на репетиции «Дон Жуана» Андрей в чер-

ных бархатных брюках, в белой рубашке апаш со шпагой в руке произнес последние слова монолога... Актеры собрались было расходиться, и вдруг без объявления, без перехода, без единого движения – стихи! Пастернак! «Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте...» Ритм нарастал... «О, если бы я только мог, хотя отчасти, я написал бы восемь строк о свойстве страсти...» И как credo: «жить, думать, чувствовать, любить, свершать открытья». И весь он был вдохновение, купался в своем выходе «за границу» условленного. В зале все замерли, а он продолжал полет в «другую сферу»: «Февраль. Достать чернил и плакать», «Я дал разъехаться домашним...», «Не плачь, не морщь опухших губ...». Закончил и повернул лицо в мою сторону – как я реагирую? Я сидела с широко открытыми глазами и с комом в горле. Все захлопали. Худрук изрек несколько слов похвалы в его адрес... провел рукой по лысине – излюбленный жест – и удалился в буфет.

В этот день я летала. Я возвращалась домой из театра пешком, шла подпрыгивающей походкой по Садовому кольцу и улыбалась таинственным мыслям... Я знала – этот поэтический выплеск был для меня! Сколько же ему пришлось выучить стихов, чтобы меня сразить, поразить, чтобы я кусала себе локти, прозрев наконец, какую невиданную птицу я променя-

ла на какого-то там Витьку. Я улыбалась, хоть и шел дождь, и была вся насквозь мокрая, но я улыбалась, потому что появилась надежда, что, может быть... может быть...

Тут я вошла в двери магазина «Галантерея», встряхнулась от воды, как курица, воткнулась глазами в витрину... и купила себе модные тогда польские духи «Быть может»!

Буду душиться этими духами и ждать, пока он «в своей сердечной смуте дойдет до самой сути» – режюмировала я и опять вышла под проливной дождь.

Глава 5. Мать Андрея – Мария Миронова

Мария Владимировна Миронова любила дождь. Шум дождя. Запах дождя. Она была москвичкой в первом поколении. Ее дедушка и бабушка – Иван да Марья Фирсовы – род свой вели из Тамбовской губернии, деревни Старое Березово, неподалеку от бойкого торгового села Сасово. На выцветшей желтой фотографии выше всех в середине восседает Марья (бабушка) – молодая, независимо и уверенно, как Наполеон, скрестив руки на груди, и с рукавов ниспадают воланы, воланы, воланы, оборки. Она любила принарядиться! Глаза, как и у внучки, – чуть навывкате – пучком. Видать, что характер дерзкий, своенравный и энергичный. Справа стоит Иван – муж Марьи, тяжелый взгляд исподлобья. Обстоятельный, с выдержкой, но не приведи Господь вывести его из себя – излупит как сидорову козу и бровью не поведет. Слева – две дочери, хотя их три: третья в этот момент куда-то делась. Две дочери в платьях с бантами, оборками, воланами. Иван да Марья сколотили капитал, и три сестры (в Москву! в Москву!), получив провинциальное образование, уехали в Москву и поступили в университет. Анна, старшая, вернулась в Тамбов-

скую губернию, учительствовала в Сасове до 85 лет и выучила не одно поколение детей. Мария и Елизавета остались в Москве. Елизавета Ивановна Фирсова на 26-м году жизни встретила (по тем временам поздновато) Владимира Николаевича Миронова. Это было в 1900 году. Владимиру Николаевичу исполнилось 22 года. Разница – четыре года, но в эту маленькую разницу уже просунул свой нос – с его стороны – комплекс матери, с ее – комплекс власти. Как говорит статистика, эта история может повторяться тридцать семь поколений. И глаза – чуть навывкате – сообщали миру о неполадках со щитовидной железой, которой занимается наука эндокринология. А гипофиз, щитовидная железа, кишечник и половые органы связаны между собой, а главная связь и прямая – гипофиз и половые органы. Поэтому главный девиз эндокринологов XX века: «Что в штанах – то и в голове!»

Итак, Елизавета Ивановна встретила Владимира Николаевича. Родом он был из мещанской небогатой семьи, детей много, приходилось подчас туго. Как же он влюбился в Елизавету Ивановну! Ухаживал за ней с выдумкой, был остроумным и очень веселым, но... в коротких штанах. Первые длинные брюки перешли из дедушкиных. Владимир Николаевич был выше дедушки, брюки оказались коротки, и жениху приходилось опускать их намного ниже пупа, что не поме-

шало ему пронзить сердце Елизаветы Ивановны – гордой и стройной учительницы. Елизавета Ивановна была неглупа и с хваткой и смотрела своими красивыми глазами не на отсутствие брюк, а на присутствие крепкого молодого парня с очень богатой головой на плечах. Они венчались. Жена вдохновляла своего молодого мужа на подвиги – он в очень короткое время овладел тайнами финансовых операций и всеми сложностями профессии товароведа. Гнездо вилось на Земляном Валу, в небольшом флигеле недалеко от Таганки. В доме появились дорогие вещи и знаменитые люди. Серебро марки Фаберже, красивые люстры, мебель красного дерева соседствовали с лубочным стилем, вывезенным из Тамбовской губернии, и придавали дому особое очарование. Родился первенец – сын Николай. Прошло десять счастливых лет. В доме Мироновых появились две кухарки – черная и белая, дедушкины перешитые штаны заменили дорогие сюртуки, шубы... Елизавета Ивановна в бежевом, из тонкого шерстяного сукна костюме, с соболями, в маленькой собольей шапочке, в лайковых перчатках более темного оттенка, в драгоценностях выезжала в коляске и осторожно спускалась с подножки... Она ждала второго ребенка. 6 января, в Сочельник, родилась девочка. Ее нарекли Мария. По случаю рождения Маруси (так ее звали дома и все близкие) был

устроен прием, на Святки приехало много гостей, стол ломился от угощений, упивались шампанским на рябиновой... Владимир Николаевич пел и даже, несмотря на свою полноту, плясал. Но рождение Маруси принесло с собой горе. Через два месяца на одиннадцатом году жизни умер Коля от дифтерита. Ах, какой это был мальчик! Знал в десять лет три языка, рисовал, занимался музыкой. В матроске и матросской шапочке с лентами был похож на цесаревича Алексея, как говорила Елизавета Ивановна.

Потрясение от потери сына длилось годы, принимая различные психологические формы. У бедной матери в 37 лет стала трястись голова, она с повышенной болезненностью стала дрожать над единственной Марусей, панически боялась всех болезней и постоянно заставляла маленькую девочку полоскать горло чистым керосином. Марусю для оздоровления летом вывозили в Крым. На одной из фотографий стоит в белом платье и белой шляпе крупная Елизавета Ивановна – в горах. Рядом полный и высокий с прической «бобрик» Владимир Николаевич. А посередине – маленькая девочка в пышненьком беленьком платьице, с крепкими толстенькими ножками и недетским, очень собранным выражением лица. Маленькая ручка легла на утес. Ощущение от этой ручки такое мощное, что утес вот-вот двинется в пропасть.

А эти поездки летом в Тамбовскую губернию – к тете и бабушке! Бабушка к тому времени овдовела и жила со своей дочкой Анной Ивановной. Ей было 106 лет – целы все зубы и почти не было седых волос. Умерла она через несколько лет – оступилась, когда спускалась в погреб за солеными огурцами, и сломала позвоночник. До последних дней она работала в огороде – копала землю, рыхлила, полола, и все сама делала по дому. Вот они, выпученные глаза, какую дают жизненную энергию.

Марусю привозили каждый год к тете Ане – к земле, к первозданной природе, к самобытным людям. Вкусы, привычки, свойства ума сформировались здесь, на земле, с простыми и мудрыми людьми.

Деревня обдавала новыми запахами – запахом свежего хлеба, который пекли на поду на капустных листьях, запахом топленого молока, запахом зарослей конопли. Из конопли делали масло и в пост перед Пасхой поливали овсяный кисель. Запах кузни, где ковали лошадей, запах ромашек, которые скрывали маленькую Марусю с головой. Люди были приветливы. Старики с огромными бородами прикладывали весной землю к щеке и говорили: «Рано ишшо, рано ишшо сеять». И помнила Маша раннее утро, когда запрягали лошадей, чтобы ехать в поле на покос или жатву. Набегавшись, пила кислый квас и засыпа-

ла около копны пшеницы или гречихи. Уж с этими запахами ничто не могло сравниться!

Через тридцать лет я буду рассказывать ей о своей деревне, где у меня «поместье», о деревенских, об их обычаях, о цветах, о запахах, о распаханной земле, и Мария Владимировна будет слушать меня с таким интересом, не пропуская ни единого слова, как будто важнее и слаще этой темы нет на всем свете. Потом, у нее на даче, в коробе, в мешке, обнаружу запас черных сухарей и со смехом спрошу: «На какой случай вы их прячете?» Она очень серьезно глянет на меня своими выпуклыми с большими веками глазами, тихо скажет: «На случай кваса». И у меня сдавит горло оттого, что из нее в эту минуту выглянет маленькая девочка – Маруся, которая, набегавшись, пила кислый квас из черного хлеба и засыпала около копны гречихи или пшеницы. Черные сухари в мешке! В коробе! Для кваса! Они жили в ее памяти 80 лет и прошли испытания временем – и царского достатка и изобилия, и сатанинской революции, и садистской советской власти, и... оранжадами и пепси-колами демократии. Где бы она ни бывала за всю свою длинную жизнь – в Париже, в Нью-Йорке, в Тель-Авиве, – всюду возила с собой в памяти запахи топленого молока, конопли, кузни, ромашек. И вкус кислого кваса.

Помнила Маруся и городские запахи. Это запах

рождественского гуся, окорока, запеченного в тесте, запах махровых гиацинтов на пасхальном столе. Ах, этот пасхальный стол! Ароматные куличи и пасхи – фисташковые, шоколадные, заварные, ванильные. В доме свято соблюдали традиции и обычаи: какие на праздники пекла мама пироги – мазурки, бабки, распакушки! Запах разрезанного арбуза и тонкий хрустящий лед, когда ходили всей семьей к заутрене в храм Христа Спасителя.

Разразилась Первая мировая война. «Прощай, мой родной, иди на смертный бой. Пусть знает грозный враг, как бьются за российский флаг», – пели уходящие на фронт в марше «Прощание славянки».

В Сокольниках по аллеям парка весной 1916 года императрица Александра Федоровна с дочерьми в простых холстинных платьях, в таких же шляпах, в перчатках, с медными кружками на груди, висевшими на репсовых лентах, совершали прогулки в благотворительных целях – сбор денег для раненых русских солдат. Сокольники – это излюбленное место москвичей, и не случайно там оказалась маленькая Маруся Миронова с родителями. Увидев императрицу, она замерла. Отец дал ей золотой, и она подбежала к Александре Федоровне. Держа в ручке с крепким запястьем золотой, она приподнялась на цыпочки, пытаясь дотянуться до кружки, но – увы! Кружка висела

намного выше ее головы. Императрица улыбнулась, наклонилась перед шестилетней Марусей, и золотой с коротким стуком упал в кружку. Это было первое «прикосновение» к царской семье, к роду Романовых.

Потом, уже в 50-х годах, когда Ленинград станет ее вторым домом, ее щеки будут рдеть от одного взгляда на памятник Петру I, Медного Всадника, и она будет в восторге повторять: «Петро прима – Катерина секундо, Петро прима – Катерина секундо!» А через восемьдесят лет, уже опять в Петербурге, а не в Ленинграде (чехарда какая-то), лично перед Марией Владимировной в последний раз откроются двери Павловского дворца. «Бедный, несчастный Павел, мне его так жалко», – скажет она, и мы втроем с экскурсоводом Наташей проскользим по прекраснейшим залам дворца, услышим имена Кваренги, Воронихина, Гонзаго, дойдем до тронного зала, а там стоит бездарный ящик для пожертвований, и Мария Владимировна, уже 86 лет от роду, опустит в этот ящик уж не меньше чем золотой на восстановление дворца «такого несчастного, такого несчастного» царя Павла.

Один из организаторов «холода и голода», господин Парвус, агент немецкой разведки, в то время разъезжал по Берлину в роскошных автомобилях с девками и сигарой во рту. Он-то и набивает карманы

русскому большевизму в лице одержимого, уже с усыхающими мозгами Ленина. Ильича везут в Россию в запломбированном вагоне, чтобы он на эти деньжонки высекал «Искру», «Искру», «Искру»! А потом пламя, пламя, пламя... «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем!» В те страшные дни член Государственной думы господин Пуришкевич в отчаянии напишет: «С красным знаменем вперед оголтелый прет народ. Нет ни совести, ни чести. Все смешалось с говном вместе. И одно могу сказать – дождалась, ебёна мать!» Напишет и эмигрирует за границу.

Начался 17-й год. Только одним словом – катастрофа – называла Мария Владимировна революцию. Дом перестали топить. Страшный холод – остывали ноги, руки, тело отказывалось двигаться. У Владимира Николаевича была шуба на лировом меху. Это зверек коричневого цвета, на спине которого изображена белая лира. Маруся начинала дрожать – отец садился в кресло, устраивал ее на коленях и застегивал вместе с шубой. С холодом пришел голод. Елизавета Ивановна бегала в ломбард, что-то постоянно продавала, чтобы выжить. стакан морковного чая и кусочек клейкого хлеба – это все, что входило в прейскурнт того времени. Поэт писал: «С Россией кончено... На последях ее мы проглядели, проболтали, пролузгали, пропили, проплевали, замызгали на грязных площа-

дых, распродали на улицах... И родину народ сам выволоч на гноище, как падаль».

Пока происходят эти страшные метаисторические события, Маруся Миронова изучает азбуку и таблицу умножения в школе Фритьофа Нансена... Школа опытно-показательная, но далеко, у Никитских ворот, ехать надо холодным темным утром тремя трамваями. Первый школьный день оказался горьким и обидным. Из-за болезни Маша пришла в школу через месяц после начала занятий. Смутилась, когда вошла в класс, – непривычная обстановка, и все дети кричат: новенькая, новенькая! У нее был красивый красный чемоданчик, в котором лежало все, что нужно для школы. Она его положила на свободную парту. Вошла рыжая девочка в веснушках, с зелеными глазами и противным голосом спросила: «Кто занял мою парту?» И, схватив Машину гордость – красивый красный чемоданчик, – выкинула его в окно! В окно! Маша побежала на улицу, чемоданчик разбился, тетради, ручки, карандаши – все рассыпалось! В грязь!

Когда она вошла в класс, кто-то уже отвечал у доски. Учительница, не зная, что произошло, сказала: «Новенькая, а опаздываешь, выйди из класса». Маша стояла в углу коридора и рыдала от обиды. Никому ничего не сказала и на зеленоглазую девочку, которую звали Ритка Ямайкер, не пожаловалась. Но за-

помнила это на всю жизнь: у нее была злая память. В конце ее жизни, когда мы останемся совсем одни – она и я – и когда она будет в неменяемом состоянии хлестать меня словами и поступками, я всегда буду спокойно отвечать ей одной и той же фразой: «Ну вот, Мария Владимировна, опять... Вы сейчас как Ритка Ямайкер!» И она утихнет, поставит чай и скажет: «Танечка, вы относитесь ко мне так же снисходительно, как Дума к Жириновскому!»

Интерес к театру возник не случайно. Родители были театралами, и в доме часто бывали актеры. Когда Машу повели на «Синюю птицу», она руками впилась в ручки кресла, едва усидев на месте – так ей хотелось бежать на сцену и играть всех: Тильтиль, Митиль, Сахар, Хлеб, Воду, Пса... Самое сильное впечатление было уже в отроческом возрасте от «Царя Эдипа» Софокла. Когда хор трубным голосом произносил: «Пусть будет счастлив царь Эдип со своей супругой Иокастой», Маша всегда рыдала... Царь Эдип не будет счастлив со своей супругой Иокастой, а выколет себе глаза заколкой ее пряжки и уже в обработке господина Фрейда поселится в душе знаменитой артистки Марии Мироновой в виде психического комплекса. И раздастся трубный глас – разверзнется земля под ногами, и уже не только рыдать, а когтями

рвать стены будет 77-летняя мать.

А пока это только театр... и знаки, которые впоследствии развернутся в мистерию жизни.

Центральный техникум имени Луначарского на Сретенке. Там началась настоящая театральная жизнь. Маша стала бывать в доме Вахтангова, перезнакомилась и передружились со всеми вахтанговскими актерами. Ею очень заинтересовались Щукин и его жена Шухмина. Они поставили рассказ Чехова «Случай с классиком». Сущность рассказа – скандал, конфликт, которые коренились в самой природе Маши Мироновой. У Маши внутри жил замечательный механизм – психоконпас, и стрелочка этого психоконпаса всегда выводила на людей, которые оказывались ей полезны.

10 февраля 1927 года в Колонном зале Дома Союзов, где десять лет назад, до революции – тогда этот дом назывался Благородным собранием, – Маша в белом кисейном платье, с распущенными волосами, в венке из роз, танцевала Седьмой вальс Шопена, – семнадцатилетняя, она стояла теперь здесь, на подмостках сцены, за кулисами, и слушала, как впервые ее представляет известный конферансье Михаил Гаркави. «У нас долгое время существовала вредная теория: считали, что юмор – достояние мужского творчества. Полагали – мужчина может вызвать смех, а жен-

щина нет, только слезы... Но теперь, в годы первой пятилетки, мы убедились, что появляются женщины, от которых насмеешься, и мужчины, от которых заплачешься. Вот почему я с особым удовольствием впервые приглашаю на эту сцену представительницу женского юмора. Это молодая актриса Мария Миронова. Маша, прошу!» Это был настоящий успех. На следующее утро она проснулась знаменитой, и «Машу просили» семьдесят лет подряд.

В характере начинающей артистки жил дух здорового хулиганства. В детстве, в школе она постоянно съезжала вниз по перилам, а в юности со своим товарищем Ростиславом Пляттом вывинчивала лампочки во всех подъездах на улице Сретенка. Входили, она, маленькая, ловко взбиралась ему на плечи – и подъезд оставался без света, а они при лампочке. Потом меняли это наворованное акробатическим способом добро на пирожки с мясом, повидлом, капустой.

После окончания театрального техникума Марию Миронову пригласили во второй МХАТ. Там она сыграла несколько ролей, потом в Театре транспорта сыграла Лидию Чебоксарову в «Бешеных деньгах» Островского, потом – Мюзик-холл, где в роли Бонни она пела так, что зрители приходили в театр, только чтобы послушать ее пение. Но ее тянуло на эстраду. Она умела подмечать, наблюдать, любила копиро-

вать, подражать, и однажды она выступила с номером, который придумала и записала сама – телефонный разговор некой Капы. Это был бешеный успех, и «некая Капа» открыла ей звездный путь на эстраду. Молодую актрису стали приглашать сниматься в кино. Она познакомилась с Игорем Ильинским. Он назначал ей свидания у памятника Пушкину под часами, и они шли в кино. Тогда перед началом сеанса в кинотеатрах играл оркестр, и зрители прогуливались парами по фойе. Ильинский был уже известный и любимый артист, да Мария Миронова – это имя уже печаталось в афишах. И вот они разгуливают по фойе, играет оркестр – все глаза устремлены на них. Маша в белой кофточке, поверх которой надет жакет-троакар – темно-синий в белый горох, темно-синяя юбка, из-под которой торчат белые кружевные оборки, нашитые на нижнюю белую юбку. Они гуляют по фойе под руку. Вдруг – хлопок! У Маши лопнула резинка на талии... и юбка уже лежит на полу. Обладательница этого продуманного наряда, оказавшись в нижней юбчонке с оборками и в жакете-троакар, невозмутимо переступила через юбку, молниеносно ее подняла, свернула, положила под мышку и с улыбкой продолжала гулять по фойе. Свидетели этого неожиданного стриптиза стали аплодировать ей за находчивость, виртуозность и невозмутимость. Игорь Ильинский так ниче-

го и не понял.

Советская власть продолжала свое разрушительное шествие. Семья Мироновых потеряла квартиру, и они втроем ютились в одной комнате. Появился новый вид коммунистического быта – коммунальные квартиры. Квартира кишела тараканами, клопами, Шариковыми и Швондерами. Только у Елизаветы Ивановны блестело все как прежде, и вся эта насекомая сволочь знала свое место и не переступала границы несвоей зоны. Владимир Николаевич, выходя в коридор, всегда укорял соседа: «Петьк, что ж у тебя такая грязь? Ты бы с тараканами расправился! Развели тут... Ведь у нас же с Елизаветой Ивановной нет тараканов!» Петька чесал в голове и изрекал сильнейший аргумент: «Владим Николаич, нам бы мебель такую, как у вас, тогда бы и тараканы все ушли».

Однажды нагрянули, видать по доносу, из банды реквизировать ценные вещи. Маша была дома одна. В секунду ссыпала в грелку все драгоценности (а их было много), залила кипятком из чайника, который, на счастье, оказался в комнате, и легла «умирать» и охать в постель, положив грелку на живот. Так и ушли ни с чем.

Кончался нэп – начинались 30-е годы. «На шестнадцатом партсъезде были слышны голоса – кто последний, я за вами брить на жопе волоса!» Встали в

очередь, известно за чем, и тут товарищ Каганович, в очереди, ехидно засмеялся: «Задерем подол России-матушке!» И задрал – в 1931 году взорвали храм Христа Спасителя.

...Маша Миронова вышла замуж за Михаила Слуцкого. Тогда это был молодой известный оператор-кинодокументалист. Его родители жили в Киеве, но даже и на таком расстоянии отношения невестки и свекрови были напряженными. Что говорить, Маша была крайне избалована и всегда чувствовала себя центром вселенной, была властной и жила под девизом: «Все для меня!» Брать все – интересные и полезные знакомства, душу, зарплату мужа, его остроумные мысли, время, здоровье... Миша Слуцкий стал болеть. Началась полоса больниц. Его жена с присущим ей чувством долга постоянно навещала свою жертву с сумками продуктов, пытаясь поставить его на ноги.

Времена пошли сталинские, кровавые. Сажали и убивали невинных и лучших людей России. «Огурчики да помидорчики – Сталин Кирова убил в коридорчике». Вечерами вся страна дрожала одной многомиллионной дрожью. Сажали за Есенина, Бунина, за меховой воротник, за очки на глазах, за елки... «Если ты пошел на елку – значит, ты не пионер!» Росли ряды от-

цеубийц и доносчиков – Павликов Морозовых. Эпоха исторического ужаса. Черчилля спросили: можно ли построить социализм в одной отдельно взятой стране? Он ответил: можно, если страну не жалко...

В 1935 году позвонили в дверь и увели Владимира Николаевича. Маша рыдала до сотрясения всего своего организма и вонзила ногти в подушечки ладоней так, что из них текли ручьи крови. Она очень любила отца, до обожания, – с матерью отношения были очень натянутые. Мать не одобряла образ жизни, замужество и профессию дочери. Елизавета Ивановна от горя не могла ходить: поругано все – Бог, традиции, вечные ценности – честность, порядочность, все отнято и разграблено, и муж в тюрьме.

Случилось чудо – через год Владимира Николаевича выпустили. Он ослеп на один глаз и постарел на 20 лет. В 1937 году родители Маши умирали в одной больнице на разных этажах не от старости, они умирали от горя. Маша сутками просиживала возле них, скрывая от отца, что умирает мать, а от матери – что умирает отец. В марте 1937 года она их похоронила. И еще много-много лет ей будут сниться душераздирающие сны, как она бежит по темным лабиринтам, зовет и ищет мать и отца. Год болела. Не могла работать. А через год была приглашена в новый Московский театр эстрады и миниатюр.

Глава 6. Отец Андрея – Александр Менакер

Это было в Петербурге весной. По прямым проспектам свистел ветер и приносил с Финского залива запах моря.

По оживленным берегам
Громады стройные теснятся
Дворцов и башен; корабли
Толпой со всех концов земли
К богатым пристаням стремятся;
В гранит оделася Нева;
Мосты повисли над водами...

На Невском продавали подснежники и фиалки. Молодая пара – Анна Осиповна и Семен Исаакович – с друзьями-юристами ранним весенним вечером ужинала в модном ресторане «Медведь» в отдельном кабинете. Подавали лососину, икру, рябчиков. Тихо звучал блюз. Говорили о юридических тайнах, тревожных слухах, светских новостях из Зимнего дворца. Вдруг Анна Осиповна с силой, глубоко вдохнула воздух, глаза расширились, брови поднялись.

– Ах! – вскрикнула она.

Начались схватки: Нюта была на сносях, ее быстро отвезли домой, вызвали акушерку, и она приняла в мир мальчика.

– Мальчик, мальчик! У вас мальчик! – радостно повторяла она, ловко делая свое дело. Подняла его вверх – он закричал на весь дом так, что у Нюты от счастья покатились слезы. Семен Исаакович находился в другой комнате, он был растроган: жена подарила ему сына, он слышал его крик, сердце отца взволнованно стучало, растроганность плавно переходила в счастье и – скачком – в восторг. Так 8 апреля 1913 года в Петербурге появился на свет Алик, Александр Менакер, будущий муж и партнер Марии Мироновой, отец двух сыновей, Кирилла Ласкари и Андрея Миронова.

Отец новорожденного Алика, Семен Исаакович, был сыном потомственного ювелира, принявшего крещение и осевшего в Петербурге. До самой старости Исаак был поставщиком драгоценностей двора его величества. Сын, Семен Исаакович, ювелирным делом не интересовался и посвятил свою молодость Анне Осиповне и юриспруденции. Сын Алик подрастал, был живым и веселым мальчиком, родители не чаяли в нем души. В трехлетнем возрасте его определили в детское музыкальное общество, своеобразный детский сад, где давали театральное и музыкальное

образование. В 1916 году в Аничковом дворце группа детей из детского сада выступала перед царской фамилией. Они пели, играли сценки. Алику, как самому маленькому, была поручена роль мышки. Он был одет в серое трико с хвостиком и ушками. Выступление было ответственным, все волновались, и исполнитель мышки описался. В то же самое время, когда в Сокольниках Маша предстанет перед императрицей с золотым, ее будущий муж перед государем императором сделает лужу. Так по-разному они впервые выступают перед самой высокой царственной публикой.

Мальчика стали пичкать образованием. В семь лет его определили в немецкую школу, бывшую «Аннешуле», где все предметы преподавались на немецком языке. Родители, как и все люди, принадлежавшие к их классу, увлекались театром и даже были заядлыми театралами. Театр, театр... Это территория, где собираются дамы и господа, показывают свои драгоценности, демонстрируют моды, жен, любовниц, мужей, завязывают знакомства и главное – получают бессознательное удовлетворение оттого, что артисты на сцене работают в поте лица специально для них. Тут, конечно, иногда совпадают и удовольствия и катарсис, но главное – бессознательное превосходство, которое рождает и восторг, и бурю аплодисментов.

Алик полностью повторял стиль жизни своих роди-

телей. Он просто не вылезал из театра. Жанр был не важен – балет, эстрада, опера, драма. Он даже пишет, что после спектакля в Александринке «Горе от ума» заболел – всерьез, хронически и на всю жизнь. В этой фразестораживают два слова – «заболел» и «хронически». Нервная система балансировала, была тонка и не готова к восприятию и отпору сильных эмоциональных натисков. В жизнь ворвалась революция. Семен Исаакович вывозит семью на юг, в Кисловодск, к сестре Анны Осиповны. Существует легенда, что перед отъездом Семен закопал в Гатчине, где жил его отец, ящик с драгоценностями. Но семья быстро вернулась назад, а ящик Семен никак не мог найти. Через сорок лет два веселых внука Кирилл и Андрей будут в Гатчине с лопатой в руках искать этот злополучный ящик, но – увы! Он, наверное, и по сей день прячется от людей.

Революция уступила место нэпу. Страх и голод сменились бесконечно разнообразными зрелищами. Анна Осиповна вечерами, придерживаясь классического стиля, ходила с сыном на симфонические концерты в филармонию. В это время входили в моду фокстроты, чарльстоны и синкопированные ритмы. Алику Бетховен и Моцарт становились неинтересными, но мама была властная женщина, и из ее рук трудно было вырваться. Вся молодежь буквально с ума сходила

от «Таити Трот» и «Джона Грея». Алик Менакер стал популярен и незаменим. Он виртуозно играл на рояле любую модную мелодию, под которую можно было и танцевать, и курить, и выпивать, и просто отбивать ногой ритм, приходя в состояние обалдения. Мальчик был легкий и талантливо-музыкальный, с невероятной выдумкой. В школе он организовал шумовой оркестр. Там играли на гребенках, на дудочках, кастрюлях и бутылках. Шумовой оркестр, «живая газета», беготня в театры... Родители были в растерянности. Семен блестяще закончил юридический факультет и надеялся, что сын получит если и не юридическое образование, то хотя бы экономическое. Но – увы! Речи не могло быть ни о каком экономическом образовании. Только музыка и театр! Молодые люди плыли вместе с новым течением, чувство нового мира, новизны опьяняло, ввергало в экстаз. Алик познавал жизнь, метался из театра в театр – то в Московский Художественный, то в Вахтанговский на «Принцессу Турандот», то в Камерный во главе с Таировым и Коноен. Мейерхольд! Из дома стали исчезать серебряные чайные ложки: ведь надо было иметь средства для капельдинеров. Однажды юный неофит простоял всю ночь, чтобы попасть на выступление негритянского джаза «Шоколадные ребята». «Шоколадные ребята» сделали свое черное дело. Алик влюбился в джаз.

«Мы кузнецы, и дух наш молод», – пело в груди нового поколения. Началось поголовное увлечение «живыми газетами». В Москве это была «Синяя блуза», в Ленинграде – «Станок», куда пятнадцатилетнего Алика пригласили музоформителем. Как же он оформлял «живую газету»? Он сидел на сцене за роялем, вокруг стояли разные трубки, дудки и набор шумовых инструментов – и во все это он бил, ударял, одновременно играя на рояле сложные пассажи. Ну просто человек-оркестр. В программе, конечно, были «Мы – кузнецы», «Смело, товарищи, в ногу». Оказалось, что за это еще и платят, и молодой пижон заказал себе на первую зарплату костюм у самого знаменитого ленинградского портного. В нем и покорила всех девочек на выпускном вечере.

Как известно, ни один труд не проходит даром. В «живой газете» молодого Менакера заметил артист музыкальной эстрады Борис Крупышев. Как раз в это время он создавал свой «Голубой джаз». В нем были скрипки, виолончели и только входящие в моду гавайские гитары, от которых публика молодой Страны Советов визжала. Солировали в этом «Голубом джазе» сам Крупышев и Менакер. Крупышев играл на вытягивающей душу гавайской гитаре, на банджо и саксофоне, Менакер – на рояле в окружении уже знакомых нам трубок и дудок. Это называлось «Гавайским дуэ-

ТОМ».

17 февраля 1930 года состоялось первое выступление Алика Менакера на профессиональной сцене. Ему минуло семнадцать лет. Решили: раз джаз – голубой, то... И жена Крупышева выкрасила белые рубашки в голубой цвет, который после концерта отпечатался на обнаженных телах одержимых джазистов. «Голубой джаз» имел успех, и даже нашелся администратор, который с неумолимым рвением стал возить его по всей стране.

Но в душу молодого джазиста, как брошенный искусно нож, врезалась рецензия некоего Полякова: «Шура Менакер, мальчик из халтурного «Голубого джаза».

Менакер был оскорблен! Но со свойственным ему трезвым умом сделал вывод – надо учиться! И поступил в Ленинградский техникум сценических искусств. На режиссерское отделение. Так оскорбление пробудило здоровое тщеславие. Но какие сценические искусства и вообще искусства могут быть без влюбленностей!

На Финском заливе, под Ленинградом, в Сестрорецке, на модном тогда курорте собиралось все украшение Северной Пальмиры. Тогда как в музыке все визжали от экзотической гавайской гитары, в моде раздавался свой «визг». После фильма «Шахматная

горячка» начался массовый психоз – носили клетчатые кепи, женщины в модной одежде были похожи на шахматные доски, носили шахматные шарфы, майки, трусы, носки! Все, что можно было надеть, разбивали на черные и белые квадраты.

Вернемся на летний курорт в Сестрорецке. Три прекрасно сложенные девушки-статуэтки в купальных костюмах с юбочками. И юбочкам досталось – они тоже были все в квадратах. Девочки оказались ученицами хореографического училища. Начались ухаживания, прогулки, дансинги... Мальчики очень гордились тем, что рядом с ними ходят стройные, почти что по первой позиции балетные ножки. Однажды «балетные ножки» пригласили своих кавалеров на выпускной спектакль хореографического училища, где были показаны «Шопениана» и «Арлекинада», в которых участвовали тогда никому не известные «балетные девочки» Галина Уланова, Татьяна Вячеслова и Лидочка Бродская, ставшая впоследствии выдающейся художницей.

Однажды на студенческом вечере Менакер, как всегда, прилип к роялю, пел песенки и в восторге от происходящего подпрыгивал на стуле. К нему подошел режиссер – известный Соколов Владимир Николаевич – и предложил ему поставить номер для эстрады. Надо сказать, что, учась в техникуме, Ме-

накер постоянно выступал на эстраде, придумывал себе номера, постоянно их менял. Но все это было несовершенно – не хватало хорошего материала и руки мастера. Теперь он пригласил на встречу с Соколовым известного сатирика Флита и заявил: Смирнов-Сокольский выходит на сцену с бантом, Образцов с куклой, а я хочу выходить с... роялем! Через десять дней текст был готов. Он назывался «Слово имеет товарищ Беккер!».

Репетиции подходили к концу, когда Алику в голову пришла парадоксальная идея.

– А что, если я лягу на рояль и сыграю что-нибудь, лежа на крышке?

И сыграл, лежа на крышке, сверху, еще и напевая: «За милых женщин, прелестных женщин!» Не сомневаюсь, что на этот «подвиг» его вдохновила одна из маленьких «балетных ножек» – Лидочка Бродская.

В мае 1932 года Менакер со своим «Беккером» вышел на сцену. В зале был весь цвет ленинградской эстрады. Он имел ошеломляющий успех и в этот день перестал быть дилетантом Аликом, а стал профессиональным артистом Александром Менакером.

В 1933 году он окончил театральный техникум, режиссерское отделение.

– Ах, как я хотел стать оперным режиссером, а стал эстрадным артистом! – с удивлением скажет Алик Ме-

накер и начнет создавать новый эстрадный репертуар.

В те годы на эстраде стали появляться произведения Людмилы Давидович. Она-то и придумала уже очень известному Менакеру трепещущую в те времена тему «Патефон». Это были времена, когда в жизнь врывается конница открытий – радио, которое, как дикари, держали в руках и со страхом и восторгом слушали исходящие из него звуки, телефон, аэроплан, воздушные шары... Земляне радостно поднимались на новый виток технических возможностей, духовные ресурсы отступали на задний план и тихо исчезали.

Обезумевшая масса «товарищей» в молодой Стране Советов выпускает модную тогда газету «Безбожник». Бога нет! Нет никакого бога! И все можно, товарищи, все! Все, под наркотическую музыку патефона!

Менакер подготовил номер «Патефономания», и его пригласили в Харьковский джаз-театр в качестве режиссера и актера. Менакер соглашается и уезжает в большую гастрольную поездку от Горького до Владивостока.

– Это была удивительная пора моей жизни – молодость, успех, увлечения, романы, влюбленности.

Одна из влюбленностей закончилась женитьбой, прямо в Свердловске, на балерине Ирине Ласкари. Менакер не только на сцене был «человек-оркестр»,

он успевал все и в жизни. В 1936 году на свет явился сын – Кирилл Ласкари. Тогда молодой отец и не мог вообразить, какой крутой поворот ждет его в жизни через три года.

Новый, 1938 год встречали в доме, где жили Алик, Ирина и маленький Кирочка. Это рядом с Исаакиевской площадью, улица Герцена, дом 53. Квартира из двух комнат, мансарда, напоминала мастерские парижских художников. Тогда, в 1938 году, эта мансарда, такая уютная и такая необычная, и не предполагала, какая шаровая молния влетит в нее в моем лице через 30 лет и сколько мы, участники всей этой мистери, наломаем дров.

Для встречи Нового года из театра привезли пять столиков (как в ресторане), в углу поставили стол с закусками, но ни одной бутылки вина на столе не было. Гости недоумевали и ерзали на стульях, вопрошая глазами. И только в 12 часов ночи вынесли из кухни детскую ванночку, в которой купали Киру, наполненную снегом. А из снега торчали бутылки шампанского и водки.

15 декабря 1938 года в Москве открылся Театр эстрады и миниатюр. Менакер получает приглашение от директора театра сыграть в Москве хотя бы один раз. Ленинградская эстрада Менакера не отпустила, и он с легкостью подал заявление об уходе.

В номере гостиницы «Москва» артист долго стоял перед зеркалом, примеряя галстуки. Наконец вышел на улицу Горького, перешел улицу и оказался в театре. Директор Гутман представил его административному товарищу: «Это Менакер, сегодня вечером он у нас выступает». Менакер опешил от такой стремительности, но без колебаний согласился. В 7 часов вечера был на «передовой». Выступал он в тот вечер со знаменитым номером «Эстрада до Рождества Христова». Все артисты собрались в кулисах, так, что торчали носы, и ревностно и с любопытством слушали нового исполнителя. Зрительный зал принял ленинградца резвыми аплодисментами.

– Ну, что я говорил? – сказал директор Гутман.

Рядом с ним стояла миловидная актриса в театральном костюме.

– Вы разве не знакомы?

– Нет, – сказал Менакер.

На что актриса снисходительно бросила:

– Миронова.

Актер не менее небрежно кивнул:

– Менакер.

Так в широком коридоре Московского театра эстрады впервые прозвучали рядом две фамилии – Миронова и Менакер. Гутман на ходу сообщил, что с завтрашнего дня Менакер выступает ежедневно.

Глава 7. Война... родился сын!

За кулисами Театра эстрады и миниатюр актеры страстно увлекались игрой в «балду». Директор Гутман острил, что все его артисты «обалдели», опаздывали на сцену, и за кулисами «балдежный» азарт был ярче и порой громче, чем выступления на подмостках, бралась какая-нибудь буква, и к ней каждый по очереди должен был приставить либо вперед, либо сзади другую букву, но так, чтобы слово не окончилось. А кто слово кончает, тот и становится «балдой». В тесных кучках артистов за кулисами часами «обалдевали» Миронова и Менакер. Маша Миронова поражала своей находчивостью и почти никогда не проигрывала.

39-й год! Какое это было время! Снимались фильмы с Любовью Орловой, Беломорско-Балтийский канал, расцвет отечественной индустрии... А главное – товарищ Берия «заступил в свою смену», и закомплексованный коротышка одним взмахом пера, как черный колдун, уничтожил половину России, с удовольствием купая свои белые руки в алой крови. Поэтому и играли в «балду» – жизнь выдавала знаковую систему времени: ты не человек, а балда, потому что, пока ты беспечно играешь в буквы, смотри, и до те-

бя дойдет очередь.

За Машей каждый вечер заходил муж – Миша Слуцкий, известный оператор-документалист, который создал много фильмов вместе с Романом Карменом. Однажды и, наверное, не случайно артистка Миронова пошла домой одна, а Менакер, которому уже запал в душу голубой взгляд искоса, предложил себя в прожатые. Маша не отказалась.

Говорили только о театре! Только! Через несколько дней все еще «обалдевшие» Миронова и Менакер, чтобы продолжить «театральную тему», назначили свидание у памятника Островскому. Выбор был не случаен: с памятника драматургу началась драматургия их жизни. У Маши было замечательное и удобное для нее самое качество – если рядом оказывался интересный для нее человек, то она мгновенно вовлекала его в свою жизнь. И Алик вовлекся. Он ходил с ней к портнихе, ждал, пока она примеряет платье, в магазины – то за сыром, то за чайником для заварки, то за кружевами для очередного наряда. Иногда сидели просто так в Александровском саду, и тогда она вовлекала его в свою жизнь острым языком и не менее острым глазом, смотрящим из-под резко поднятых веселых клоунских бровей.

Пришла весна, и вместе с ней влечение к Маше Мироновой приняло угрожающие жизни размеры. Что-

бы скрыть свои чувства от чужих глаз, они большую часть времени проводили под сценой или в закулисных темных закоулках. Один артист почему-то постоянно натыкался на них и, внимательно вглядываясь в «фреску» тревожного и сладкого поцелуя, патетически изрекал: «Весна! Щепка на щепку лезет!» Но разнять их никакими изречениями было невозможно, тем более впереди маячило жаркое будущее: летом театр выезжал на гастроли в Ростов-на-Дону. Гастроли состояли из двух программ. Менакер участвовал во второй и поэтому явился в Ростов позже Маши Мироновой. Он то и дело шлет ей телеграммы: «Тоскую, изнываю!», «Страдаю, мучаюсь безумно!». На эти стоны приходил окрыляющий ответ: «Мужайтесь, счастье не за горами». Стрелка психоконспекта Мироновой четко указывала на Менакера, и она продолжала «вовлекать», отдавая ему распоряжения: пойдите к портнихе, возьмите платье, которое я не успела дошить до отъезда, зайдите в «Подарки», купите крем «Улыбка» – здесь такого нет, привезите хорошего чаю и чего-нибудь вкусненького. Перед отъездом Менакер купил сыров всех сортов, крекеры, чай, сухое вино, только что появившиеся ананасы, все упаковал в большую корзину с высокой ручкой, у самого модного мастера сшил костюм розово-песочного цвета с огромными плечами – модный галстук, дорогие рубашки, в цвет

башмаки. Теперь горящий в огне любви молодой человек в костюме, делавшем его похожим на бежевый легковой автомобиль, с корзиной, полной сыров и экзотических ананасов, был готов к приступу и взятию объекта своей страсти. Он не сомневался в победе, хотя внутренняя дрожь разоблачала внешний эпатаж и сообщала обладателю дорогой декорации и экстравагантного реквизита, что, мол, не такой ты и уверенный парень: твоя нервная система сигнализирует – Машка Миронова тот еще орех! И смотри, не окажись перед ней той мышкой и не сделай лужу, как в три года на представлении перед царской фамилией. Но ритмичный стук колес поезда, мчавшегося в Ростов, усыпил бдительность и открыл перед Менакером дворцовые двери сна. А во дворце она бежала ему навстречу в нижней короткой рубашечке, прижимая к груди ананас и приговаривая: я так мечтала об этом, я так мечтала об этом... я тебя съем! Менакер во сне не понял: кого она хотела съесть? Его или ананас? Двери дворца захлопнулись, и перед ними вдруг выросло огромное дерево, на котором росли ананасы и сыры разных сортов. Кто-то его раздел – ему было так жаль свой бежевый костюм, он остался почти голый, и они вдвоем взлетели и оказались на ветке дерева. Она в нижней рубашечке, а он в трусах. Голос знакомого артиста из театра, который, как назло, всегда констатиру-

вал «фреску» с поцелуем: «Весна! Щепка на щепку лезет!» – вдруг объявил: «Миронова и Менакер! Ваш выход!» «А мы почти голые сидим на дереве», – с ужасом подумал Менакер и проснулся в поту.

– Товарищи пассажиры! Через тридцать минут поезд прибывает к городу Ростов-на-Дону. Прошу сдать белье, заплатить за чай и не забывать свой багаж.

Только что вынырнувший из сна артист с облегчением вздохнул, увидев на вешалке качающийся бежевый костюм. Трусы на месте. Корзина тоже.

20 июля в 10 часов утра он вошел в номер лучшей гостиницы «Интурист». Узнав, что Маша Миронова живет на этом же этаже, только в другом конце коридора, он вызвал горничную и попросил передать корзину в ее номер. Горничная передала. В этот момент в номере Мироновой сидела Рина Зеленая. Корзина была немедленно вскрыта, и Рина многозначительно произнесла:

– Да, Марья, это тебе даром не пройдет!

Менакер нервно метался из угла в угол, ожидая каких-нибудь знаков, вестей с противоположной стороны коридора! Напрасно метался, поскольку еще не выучил характер артистки Мироновой.

– Конечно, что для нее какая-то корзина! – с обидой воскликнул он. Взятие объекта уже было под вопросом и, чтобы компенсировать свое поцарапанное са-

молюбие, он громко, на весь номер сам себе заявил:
– А что для меня какая-то Миронова!

Стояла неподвижная жара. И он на полдня положил себя в прохладную ванну – купать горькое разочарование, поцарапанное самолюбие и заодно выдержать характер. К вечеру не выдержал, облекся в бежевый с огромными плечами костюм и постучал в номер к «ведьме с голубыми глазами» – так Миронову звали в театре. Увидев его в громоздком костюме в тридцатиградусную жару, она посмотрела на него как Ленин на буржуазию, поблагодарила за дары и между прочим заметила, что терпеть не может сухого вина. Герой-любовник был уничтожен и пал духом, чего и добивалась голубоглазая ведьма. Однако вечером после спектакля как-то неожиданно все собрались у Мироновой. Пили сухое вино, болтали, смеялись – Маша была остроумна, весела и прелестна. Стали расходиться. Алик и Маша остались вдвоем, и тут объект страсти был взят. Не выходили из номера ровно три дня. На четвертый день от яркого солнца рано утром победитель открыл глаза. Сладость и нега струились из всего его существа. Сначала он почувствовал, что Маши нет рядом, потом услышал скрип пера, потом увидел ее, сидящую за письменным столом: она что-то сосредоточенно писала.

– Маша, что ты делаешь? – с недоумением спросил

Менакер.

Не отрываясь от своей работы, Маша ответила:

– Пишу письмо Мише Слуцкому! (Уже не мужу, а Мише Слуцкому!)

– А что за срочность? – спросил наивный Менакер.

– Я сообщаю Слуцкому о том, что мы должны расстаться. Разводимся!

У голубоглазой Маши был стратегический ум, о котором Менакер и не подозревал, и мгновенно победитель вдруг оказался побежденным. Ошарашенный Алик приподнялся в постели, что-то хотел сказать, но не успел.

– И ты садись и пиши то же самое своей жене.

В Ростове-на-Дону цвели акации душистыми гроздьями, и в чудной головке Маши крутился романс на эту тему и зрели хозяйственные ассоциации по поводу ее с Менакером будущей жизни.

– Да, да! Все правильно. Он – крышечка от моей кастрюлечки. Мы подходим друг к другу. Это то, что мне надо.

А чтобы крышечка была уже точно от кастрюлечки, Маша переименовала Алика в Сашу, тем самым отрывая его с корнями от прошлой жизни. Маше Мироновой было тогда 29 лет, а Менакеру – 26. Для того этапа жизни это была огромная разница – женщина в 29 лет, да еще такая, как Мария Миронова, од-

ним «щелчком по лбу» могла управиться с 26-летним самоуверенным артистом. Она, как животное, нюхом улавливала все слабые и сильные стороны партнера, мысленно пробегала по клавиатуре его психики, нащупывала нужную ей ноту и начинала играть. И Саша (теперь уже Саша), вдохновленный любовью, находил невероятные способы поразить воображение артистки Мироновой. Каким-то образом он достал напрокат «Линкольн», и они, как в американских фильмах, с открытым верхом шуршали шинами по благоухающему акациями Ростову, ездили купаться на левый берег Дона, ели клубнику и черную икру. Вечерами перед спектаклем сидели на скамеечке под развесистым кленом и мечтали о совместном номере. Тогда они и знать не могли, что «совместный номер» развернется в самую популярную в стране эстрадную пару, их будет узнавать на улице каждый третий – Миронова и Менакер! И спустя много лет в тихие часы они будут напевать: «Улица Садовая, скамеечка кленовая, Ростов-город, Ростов-Дон». И на протяжении сорока с лишним лет каждый год 20 июля Менакер будет посылать телеграммы: «Дорогая Маша, поздравляю с нашим днем. *Саша*».

Директор Гутман вез в Москву письмо Маши Мироновой для Миши Слуцкого. Дорога длинная, делать нечего, и он как-то невзначай сунул свой любопытный

нос в конверт. Театр, как и все театры, жил, нет, не жил – купался в такого рода событиях.

В Москве в кафе «Националь» – тогда самое модное место – собирались поэты, писатели, художники. Гутман завтракал и всем, кого встречал, разбалтывал роковую тайну: Машка Миронова сошлась с Аликом Менакером и расходится с Мишей Слуцким. В этот день содержание письма знала вся Москва, и, естественно, оно дошло до Миши Слуцкого. Слуцкий дозвонился Гутману и потребовал письмо. Факт был оскорбительный, и Миша в приступе бешенства полностью встал на сторону своей киевской мамы и «палил снарядами» из Москвы в Ростов-Дон: «Сука, самая настоящая потаскуха, кобра ползучая, ведьма бесстыжая, свинья на каблуках!» Все это «огнестрельное» происходило в комнате в Нижнем Кисельном переулке, поэтому «снаряды» не долетали, и Маша с Сашей продолжали колесить в «Линкольне» с открытым верхом по крутым улицам Ростова.

Во время гастролей Менакер получил предложение вступить в труппу Московского театра эстрады и миниатюр. Предложение он принял, и круг замкнулся. Сезон начинался 15 сентября в Ленинграде. Кончились гастролы, и Маша с Сашей решили не расставаться и провести отпуск вместе. Они сели на теплоход «Чехов» и поплыли по Дону, через Азовское мо-

ре – к Черному, в Батуми. В Азовском море с ними вместе плыла в небе стая цапель с болтающимися длинными ногами. Саша на палубе принимал бравые позы и по-мальчишески отдавал приказания «пустить торпеду» – реплика, застрявшая у него из какого-то фильма. Маша была по характеру строгая и сначала конфузилась на мальчишеский «идиотизм», а потом включилась в игру и на очередную реплику «пустить торпеду» озорно косила в сторону свои голубые глаза и смеялась так заразительно, что собирались вместе обаятельные морщинки посредине ее бойцовского носа. Счастливые дни были на излете, свадебное путешествие окончено. 14 сентября Миронова уехала на гастроли в Ленинград, на родину Менакера, а он остановился в гостинице «Москва» и ждал жену с сыном: они возвращались после летнего отдыха на Волге. Произошел неприятный и трудный разговор с женой, но он оказался тихим. Ирина все поняла и отпустила... Менакер проводил их с Кирочкой в Ленинград, а сам на следующий день отправился туда же на гастроли. Остановился он в гостинице «Европейская» и ходил в недоумении, что в своем родном городе живет не у себя дома, а в какой-то гостинице...

Развод был оформлен быстро, и на следующий же день, 26 сентября, Миронова и Менакер заштемпелевали свою любовь.

Встреча с Машей, гастроль, с неба свалившееся сильное чувство, развод с Ириной, брак, поступление в московский театр – все произошло так стремительно, что, оказавшись после гастролей в «Красной стреле», летящей в Москву, Менакер не был так счастлив, как казался другим. Он расставался с родным, самым прекрасным для него городом на свете... С детством, юностью, пляжем у Петропавловской крепости, куда ходили мальчишками купаться в ледяной невской воде. Расставался с улицами, площадями, с Сестрорецком, в котором встретил «балетных девочек» в шахматных юбочках... тайные встречи и первые поцелуи... расставание с любимой мансардой, с сыном и Ириной...

«Прощай, Ленинград! Что ждет меня в Москве?» – думал Менакер, втягивая в себя дым папиросы и безразлично глядя на мелькавшие в окне поезда темные пейзажи. Актеры были взбудоражены, долго не ложились, а неугомонный Смирнов-Сокольский, заглядывая в каждое купе, громко произносил одну и ту же фразу: «Но Менакер-то!!!» – ставя в конце три восклицательных знака.

Молодожены приехали в Нижний Кисельный переулок. Лифт поднимался на шестой этаж. Оба волновались. У Маши тогда были две маленькие комнатки в четырехкомнатной квартире – столовая и спальня.

Миша Слуцкий покинул этот дом, взяв только официальный подарок студии – холодильник. У Мироновой в доме царил идеальный порядок: накрахмаленные салфеточки, полотенца, скатерти, очень много безделушек в русском духе, часы-кукушка, и главное место занимал самовар на специальном самоварном столике с мраморным верхом. Менакеру потребовался рабочий уголок для «литературных трудов», и на место, освободившееся от холодильника, Маша поставила мраморный столик из-под самовара. Менакер с самой юности вел записные книжки и теперь, устроившись за самоварным столиком, с тоской вспоминал свое дивное бюро «маркетри», оставленное в Ленинграде. В записной книжке он пометил: «2 октября 1939 г. Приезд в Москву. Остановился у Мироновой».

Утром Маша Миронова заметила, вероятно не случайно, эту запись, и произошел взрыв. Она так кричала, голос стал грубым, каркающим, как у вороны. Оскорблениям, казалось, никогда не будет конца. Она выкрикивала, что у нее не гостиница, где останавливаются, не постоянный двор, что только последняя сволочь, такая, как Менакер, могла выдумать и написать такую подлость, и если он привык «останавливаться», то пусть остановится где-нибудь и катится отсюда вон – прямо с шестого этажа! Менакер был напуган. До этого он никогда не видел ее в таком состоянии. Это

был первый приступ гнева и, увы, не последний.

Машин четкий ум всегда сигнализировал, когда можно вспыхивать, а когда – нет. Медовый месяц прошел, развелись, расписались – деваться некуда. Можно уже по закону контраста начинать показывать свой крутой нрав и поставить партнера на второе после себя место. Самолюбие Маши было обожжено и раздуто как волдырь, и любое прикосновение к волдырю вызывало вспышку гнева, потому что было больно. А за боль надо было ответить тоже болью. А тут Менакер, не желая того, нажал на это болезненное место, нанес оскорбление. Ведь надо было добавить всего одно слово: «Остановился у Мироновой – навсегда». Но Миронова была по характеру конфликтер и даже на пустом месте раскопала бы причину для гнева, взрыва и оскорблений. Всем большой привет от науки эндокринологии! Комплекс власти с начинкой садизма. Но светлая сторона души Маши к вечеру спохватилась и: «Саша, прости, прости меня, прости...» – звучало так же естественно, как «катись с шестого этажа». Саша не только простил, но и сам повiniлся, а ночные объятия и страсти навсегда скрепили модель поведения в новой семье.

Сезон в Театре эстрады и миниатюр 1940–1941 годов.

Перед началом представления Менакер появлялся во фраке в оркестре и дирижировал увертюрой, которую сочинил сам. Затем пел куплеты, обратившись к публике. После куплетов он поворачивался к занавесу, в разрезах которого появлялись головы актеров, в том числе и Маши Мироновой. 7 марта, после увертюры и куплетов повернувшись лицом к занавесу, Менакер голову своей жены не увидел. Потом ему все рассказали: у Марьи начались схватки, отошли воды, и ее немедленно транспортировали в родильный дом имени Грауэрмана. Поздно вечером 7 марта родился Андрей Миронов. Как все шутили и восторгались!

– Нет, вы только подумайте, он родился... ну просто на сцене!

Все девять месяцев артистка носила в себе малютку, и все девять месяцев он выходил с мамой на сцену, не пропуская ни одного спектакля.

Образ матери, в которой зарождается жизнь, рисуется мне таким прекрасным. Этот образ возникает из дебрей прапамяти: окно, белая шелковая занавеска, дуновение ветра, цветы, прекрасное умиротворенное лицо, звуки рояля, все – каждая мысль, каждое движение, каждая клеточка, – все посвящено маленькому пришельцу в этот мир... «Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей. Славлю

Тебя потому, что я дивно устроен. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был в глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные... Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это! Когда я созидаем был в тайне...» Но какая тайна? Какой Бог? И обезбоженные системой несчастные матери таскали свой живот, не ведая, что «Бог со-ткал его во чреве...». Таскали на сцену, в рестораны, слушали и говорили нечестивые речи, не предполагая, что бумеранг уже запущен! Запущен и летит! Ребенок, которого девять месяцев пытали безобразной жизнью, уже в утробе облился горючими слезами и не получил необходимой духовной силы. Выйдя на этот свет, он может с ним не справиться и погибнуть!

Андрюша родился 7 марта, но остроумные и веселые родители сами перевели стрелки часов и на тему рождения сына выдали репризу: «Андрей – подарок женщинам в Женский день 8 Марта!» И поменяли ему судьбу. С цифрами шутить опасно. Но они были всего лишь актеры в обезглавленной стране с поврежденным механизмом жизни и не могли этого знать. Они знали только одно – работа продолжается, сцена ждет Миронову, и ребенку нужна няня. И няня нашлась. С «визитной карточкой» – много лет служила у старейшей артистки МХАТа и воспитывала ее внуков. Анна

Сергеевна Старостина, семидесяти лет, была весьма колоритной фигурой. Зарплату обзывала жалованьем и поставила неперемное условие – помимо жалованья ежемесячно два килограмма «конфетов по выбору» и полтора литра водки. Родители вздрогнули, но водка оказалась лечением и, настоящая на полыни, принималась по стопке перед обедом. Анна Сергеевна была родом из Нижегородской губернии, окала и говорила «утойди», «офторник», «яичня», «скоророда». Через два года полностью усвоил эту терминологию едва научившийся говорить Андрей Миронов.

В перерыве между актами дирекция театра послала машину, и няню с Андрюшей привозили в театр... кормить. Ах, мудрые евреи... Если бы мальчик Андрюша родился в библейские времена, то его на сороковой день мать и отец несли бы в храм – на оддание Богу! Свидетельствуя этим перед Всевышним, что дитя Его, Ему принадлежит и Ему посвящается. А тут дитя театра, театру принадлежит и театру посвящается.

Как рыдал маленький Андрей 22 июня 1941 года! Трехмесячные дети не понимают слов, но чувствуют интонацию. А интонация была страшная и по радио, и у мамы, у папы, у няни – война!!! И он так орал, дергал ручками и ножками, что остановить его не могли

ни соска, ни грудь, ни качание няньки. Ему было так страшно, хотелось находиться все время в поле мамы – прижаться к ее груди, вдыхать только ее спасительный запах, слышать какие-то непонятные звуки, которые окрыляли его младенческую душу – да, да! Она его любит! И никому не отдаст! И с ней так тепло и не страшно находиться в этом еще чужом и таком малопонятном ему мире. Не знали мы тогда (да и знает ли об этом кто-либо сейчас?), что мать может внушать сыну всепожирающую страсть, которая подтачивает его жизнь и трагически разрушает ее в такой мере, что грандиозность Эдиповой участи является перед нами ни на йоту не преувеличенной.

Но мама с нотой гражданского подвига вместе с остальными артистами готовила антифашистский репертуар – «Смелого пуля боится!». Целыми днями они пропадали в театре, и во время воздушной тревоги дежурный милиционер заходил за Андрюшей с няней и спускался с ними в бомбоубежище – таково было распоряжение начальства.

В середине июля 1941 года был издан приказ – женщины с детьми должны быть срочно эвакуированы из Москвы. Несколько месяцев Миронова, Менакер, няня и Андрюша ездили с концертами по Волге, жили в Горьком, Ульяновске, Казани. В Ульяновске у Андрея температура 39, условия жизни ужасные, толпа арти-

стов в сырой комнатухе на дебаркадере. Случайно встретили жену режиссера Марка Донского, и Ирина пригрела их у себя – кормила, стирала пеленки и опекала Андрюшу, когда родители уходили на спектакль. Наконец, театр получает направление в Ташкент. И 20 ноября на вокзале в Ташкенте у Андрея прорезался первый зуб. Маленький странник стал «зубастым» и поселился в гостинице «Узбекистан» в номере «без окон, без дверей». Ташкент стал убежищем для многих москвичей и ленинградцев. На улице можно было встретить Ахматову, Раневскую, Алексея Толстого, Бабанову, Михоэлса, Марка Бернеса... «Без окон, без дверей» было жить невозможно, и начались скитания: сначала их приютила Капа Пугачева, потом какое-то время они жили на сцене театра и, наконец, сняли небольшую частную квартиру.

В начале декабря состоялась премьера военной программы «Смелого пуля боится!», и театр выехал с выступлениями по частям округа. Миронова ехать отказалась, так как Андрюша опять болел, и они с няней Анной Сергеевной остались в Ташкенте. Денег не хватало. Все, что можно было, меняли на рис и молоко. Но надо было найти способ существования, и Миронова нашла. Она попросила знаменитого драматурга Николая Погодина написать скетч для нее и для жены Марка Бернеса – Паолы. Погодин написал, и они

стали довольно успешно давать концерты, которые приносили немного денег. Миронова на аплодисменты произносила фразу с украинским акцентом, которая там, в Ташкенте, стала ходячей: «Вы знаете, меня выкуировали с Москвы и вкуировали в Ташкент».

Снова заболел Андрей. И очень тяжело. Спал только на руках, то у Марьи, то у няньки. Мать была в отчаянии: он уже синел и лежал с полузакрытыми глазами, а она ничем не могла помочь! Врач сказал, что это похоже на тропическую дизентерию и спасти его может только сульфидин. Богу было угодно, чтобы Андрюша выжил: сульфидин чудом явился. Миронова металась по Ташкенту в поисках лекарства, но все безрезультатно. И вдруг на Алайском базаре она встречает жену знаменитого летчика Громова Нину. Та была поражена ее видом:

– Маша, что с вами? У вас такое лицо...

– Я теряю ребенка... Мне срочно нужен сульфидин, – еле выговорила Маша.

– Сегодня в Москву летит самолет... Я, кажется, могу вам помочь.

И Нина помогла: сульфидин прилетел, и Андрей стал выздоравливать.

Однажды вечером уложили Андрюшу спать. Маша с няней сидят и тихо разговаривают. Вдруг стук в дверь. На пороге – Изабелла Юрьева с мужем. Из-

вестная исполнительница цыганских романсов часто встречалась с Мироновой на концертах, но не была в близких отношениях.

– Изабелла Даниловна? Какими судьбами?

– Машенька, вы совершенно напрасно удивляетесь, мы просто с мужем узнали, что у вас болен ребенок, а вы одна! Недавно мы получили посылку и хотим с вами поделиться.

Сколько она тогда выложила из сумки – манную крупу, сахарный песок, шоколад! Маша смотрела на все это и не могла вымолвить ни слова, только плакала.

Как-то Миронову пригласила в гости Анна Андреевна Ахматова. Маша пришла. Заварили чай, но говорить было невозможно: над ними раздавался такой мощный топот и грохот, что он перекрывал любой звук.

– Что это? – с удивлением спросила Миронова.

– Вечер антифашистов, – сказала Ахматова. Помолчала и добавила: – Что же такое тогда фашисты?

А Менакер все ездил, ездил по всей стране, выступая в отдаленных частях Красной Армии. В Новосибирске он получил письмо от жены: «Концертов мало, денег нет, настроение скверное». Зарплаты Менакера едва хватало на него одного, и он решил продать зимнее пальто. И вот в воскресный день, взяв с собой друга, Менакер отправился на барахолку с де-

визом отца Семена: «Все продать и жить миллионером!» Серое пальто с каракулевым серым воротником с трудом было продано, и Менакер майским холодным днем остался в одном пиджаке и дрожал, как стрекулист. На центральной площади возле универсама ему попался знаменитый артист Юрьев.

– Алик, голубчик, в Новосибирске в одном пиджаке в такой холод?! Вы же простудитесь.

Менакер посвятил его в тайны своей жизни и рассказал, как только что загнал пальто на барахолке. Юрьев тут же повел его в универмаг к знакомому директору, и тот подобрал ему душегрейку на козлином меху. И в этой душегрейке счастливый Менакер дунул на почту и перевел своим домочадцам две тысячи рублей!

Немцы отступали от Москвы, вся страна читала симоновское «Жди меня, и я вернусь, только очень жди!», все пели «Темную ночь», и «Синенький скромный платочек» врывался в сердце каждого с любовью и надеждой, и на такт вальса – раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три – «синие платочки» летали над всей Россией, как птицы, несущие дух Победы.

В июне военный театр вернулся в Ташкент, и Андруша впервые выговорил: папа! Театр миниатюр подготовил новую программу «Вот и хорошо!». Через несколько дней пришел вызов из политуправления –

вызывались в Москву только те актеры, которые были заняты в программе. Боялись верить – неужели скоро Москва?!

В октябре вернулись в Москву. Дома, в Рахмановском переулке, в буфете Миронова и Менакер обнаружили пирог, который они забыли, уезжая в эвакуацию. С удовольствием съели, хоть он был и сухой. Пирог напомнил им мирную жизнь, но воспоминания длились недолго – пришло направление на Калининский фронт. Теперь главная забота – Андрюша с няней. И опять договорились с начальством: милиция будет «курировать» Андрюшу с няней и квартиру. И потом, как выяснилось после их отъезда, только объявлялась воздушная тревога, дежурный милиционер опрометью бежал в четвертую квартиру, хватал Андрюшу, няню, бежал с ними в бомбоубежище и оставался с «поручением» до полной безопасности.

Ветреным осенним днем к Рахмановскому переулку подъехал грузовик, «дан приказ ему на запад». В кузове на досках сидели члены фронтовой бригады. Няня с «ребенком» провожали. Он казался маленьким, беззащитным, в ярко-красных длинных брючках, сшитых из бушлата генерала Крюкова, мужа Лидии Руслановой. После войны боевого бесстрашного генерала и талантливейшую певицу Лидию Русланову параноик Сталин со своей камарильей упекут за ре-

шетку на много лет – за все хорошее, что они сделали для своей родины. Чудом выживут и выйдут. Русланова – раньше. Построит дачу по образцу замка для своего любимого генерала как компенсацию за оскорбление. И рядом сторожку. Крюков выйдет из тюрьмы, увидит этот замок, махнет рукой и скажет:

– Нет, Лида, это не для меня... я буду жить там... в сторожке.

А пока война продолжается, и бригада артистов попадает в заболоченные земли Калининского фронта. Выступают на аэродромах у летчиков, в партизанском отряде «Смерть фашистам», на грузовиках или просто в лесу, под часто свистящими пулями. Однажды ночью возвращались с концерта из партизанского отряда, скрывавшегося в глубине бесконечного леса. Маша Миронова была в сапогах 43-го размера, нечаянно попала в болото, стала медленно туда погружаться, ее вытащил солдат – из болота и из сапог одновременно. Сапоги поглотила зеленая пучина.

Калининский фронт остался позади. И вот опять Москва! С фронта начали возвращаться раненые друзья, стали репетировать и играть новые программы, старались развеселить зрителей. Однажды к концу спектакля пришли няня с Андрюшей и сели в ложе. Менакер играл ювелира с усиками, но сын, несмотря на маскировку, узнал его и закричал на весь зал:

«Папа!» Менакер был очень смешливый и еле сдерживался, чтобы не расхохотаться. Андрюша, не услышав ответа, закричал еще громче: «Папа, папа!» В зале стоял гомерический хохот. Администратор вышел на сцену и потребовал: «Уберите ребенка!» Няня оскорбилась, и из ложи раздался ее зычный голос: «Ребенок отца увидал, что вам, жалко, что ли ча?»

Тут уже хохотали и зрители и актеры. Андрей понимал, что вся эта веселая заварушка в театре произошла из-за него, и чувствовал себя героем. «Когда я снова пойду в театр?» – то и дело задавал он родителям один и тот же вопрос.

Однажды в 1944 году Мария Миронова прочла в «Правде» статью о зверствах фашистов над мирным населением, о детях-сиротах и в тот же день обратилась к директору: «Я бы хотела в выходной день театра устроить свой творческий вечер и сбор от него отдать в пользу детей погибших воинов!»

Все билеты были проданы. Зал был набит до отказа. Миронова почти не уходила со сцены, только для переодеваний. Концерт удался, и патриотическое чувство Маши, жившее в ней с самого дня рождения, было удовлетворено и награждено аплодисментами, и не только ими. На следующий день Миронова через газету «Литература и искусство» обратилась к артистам с просьбой поддержать ее творческое начи-

вание. Пошла цепная реакция – на афишах концертов Обуховой, Козловского, Тамары Церетели и других появились слова: «Весь сбор поступит в пользу детей погибших воинов».

Не прошло и двух недель, как в театре за кулисами появился статный лейтенант с отличной выправкой, в начищенных до блеска сапогах, из-под парадной шинели выглядывало белое кашне. Он вынул из папки большой конверт, протянул Мироновой и многозначительно произнес: «Мне поручено вручить вам это письмо». Щелкнул каблуками и удалился. Миронова вынула из конверта лист и прочла с грузинским акцентом: «Артистке Московского театра миниатюр, лауреату всесоюзного конкурса эстрады, товарищу Мироновой. Примите мой привет и благодарность Красной Армии, товарищ Миронова, за вашу заботу о детях фронтовиков. *И. Сталин*». «Плюнув» на омерзительную фигуру автора письма, на количество посаженных – отца, друзей, знакомых, Миронова прикрепила этот лист на стене в своей квартире, чтобы видели все. Этот жест сильно подкормил ее тщеславие и заодно служил дипломатическим ходом и «охранной грамотой» во все продолжавшееся «посадочное» время.

Наконец пришел долгожданный великий День Победы 9 мая. Вечером, после спектакля, взявшись за

руки, охваченные радостью – «День Победы со слезами на глазах», – артисты, да и вся Москва, двинулись на Красную площадь. С костылями, без рук, уцелевшие и обожженные войной люди в исступлении кричали только одно слово «Мир!!! Мир!!!» и плакали.

Начались мирные дни. И с ними вместе новый этап в жизни артистов. То, о чем они мечтали в Ростове на скамеечке под кленом, стало сбываться. Старый репертуар стал неинтересным. «Подслушанные телефонные разговоры» – конек Мироновой – это и «некая Капа», и поклонница, которая съела кусок следа из снега артиста Козловского и охрипла, – стали заезженными и устарели. Время требовало новой формы и новой темы.

Однажды родители, вернувшись из очередной поездки, захотели посмотреть дневник сына. Он учился в четвертом классе и только на четверки и пятерки. А тут он как-то замялся, что-то забормотал... в дневнике оказалась одна четверка и много-много троек. Тут, как рояль в кустах, оказались в гостях Леонид Осипович Утесов с женой. Они принесли в подарок Андрюше маленькую скрипку. Миронова была на взводе от троек (впрочем, это было ее естественное состояние) и, с презрением глядя на Андрея, оскорбительно уверяла, что у него нет слуха и что из него не получится ни Гилельс, ни Ойстрах, и вообще из него ничего не

получится!

Андрюша молча ушел в свою комнату и плакал, прижав кулачки к глазам. Утесов в недоумении посмотрел на Машу и сказал:

– Маша, что ты хочешь от ребенка? Когда я принесил тройку, то в доме был праздник!

Эта история натолкнула Менакера на мысль о создании «семейного» репертуара. Писатель Ласкин почувствовал неисчерпаемость темы, и через десять дней он уже читал маленькую комедию «Вопрос о воспитании». Эта комедия ушла в небытие, но фразы из нее живут: «нормальный гениальный ребенок», «нунсенс», «бодрый маразм». Так постепенно образовывался театр двух актеров – Миронова и Менакер.

Родители часто уезжали на гастроли в Ленинград и иногда брали с собой маленького Андрюшу. Миронова занимала отдельный номер в «Астории». Всегда и до конца жизни только в «Астории», с видом на Исаакий, а Менакер с сыном жили в соседнем номере вдвоем, немножко униженные таким «распределением ролей». Вечерами, уходя на спектакль, они оставляли Андрюшу на Дину. Дина была заведующей лифтом – лифтером и проработала в «Астории» пятьдесят лет. Стриженная, с челкой, она была точной копией портрета Анны Ахматовой работы Альтмана. И вот пока папа с мамой играли, Андрюша тоже работал,

лифтером, вместе с Диной возил важных пассажиров вверх-вниз, вниз-вверх.

Но потом возвращались в Москву, и начинались очередные репетиции. Репетировали всегда дома. Тема одна и та же в разных вариантах – ссорящиеся муж и жена. Андрюша подглядывал тихонько из щелки двери своей комнаты и не мог никак понять – почему так страшно ссорятся родители? Мама всегда так кричала... «Почему другие мужья возят своих жен лечиться, а меня – шлюзоваться? Почему вместо того, чтобы сидеть на диете, я должна сидеть на мели? Что ты молчишь? Отвечай, когда тебя спрашивает твоя единоутробная жена!»

В сознании маленького Андрюши не было разрыва между сценой и жизнью. Жизнь и сцена сливались. Эта модель сознания закрепится навсегда, и отсутствие границы сделает его жизнь мученической, яркой и неповторимой. Мама всегда была агрессивна, а папа всегда оправдывался с таким неудобным для жизни чувством вины. В душе Андрюши как грибы росли вопросы:

- Почему мама всегда кричит на папу?
- Почему перед обедом она швыряет ложки и вилки на стол и говорит: еврейчики, идите обедать!
- Почему – еврейчики? И кто такие эти еврейчики?
- Почему мама всегда обижает папу и меня?

– Почему мне с папой хорошо, а маму я боюсь?

– Почему мама так ненавидит кошек, а я их люблю?

– Почему они, взрослые, родители, играют в парокход, изображают других людей, а потом уезжают надолго, оставляя меня совсем одного?

– Наверное, они меня не любят, особенно мама...

Она всегда мной недовольна и делает словами больно.

И маленький Андрюша, мучаясь целой обоймой неразрешимых вопросов, играл во дворе, делал из песка куличики, и, если ему попадался котенок, он с силой тер его мордой об асфальт или камень – ведь мама ненавидит кошек, и я буду ненавидеть и, может быть, хоть таким способом завоюю ее любовь.

Глава 8. Шагаю по арбату на свидание

На ходу, стуча высокими каблуками об асфальт, пою шепотом, с придыханием: «Ах, это лето, лето, лето, лето сводит с ума, сводит с ума, сводит с ума...» Холодный воздух влетает в грудь, охлаждая пылающее там негодование.

Рано стало темнеть – вплелось в песню, когда проходила мимо церкви по Спасопесковскому переулку в сторону Арбата. Бежевое стильное пальто, недавно добытое в комиссионке, шелковая косынка цвета малахита, темная челка, удивленные большие глаза. Ресницы, покрашенные для эффекта удлинения с пудрой и мылом, касались лба.

«Столько выводить щеточкой глазки, раскрашивать физиономию, вертеться перед зеркалом, и все для кого?!» – думала я с досадой. «Ах, это лето, лето, лето. Милый летом дарит мне букеты...» – все тем же шепотом. Свалилась слеза. Остановилась, закинула голову назад, чтобы влить в себя обратно стакан надвигающейся соленой воды. «Почему слезы соленые?» – думала я, стоя с запрокинутой головой в темном арбатском переулке. Как морская вода. В глазу резко защипало. Заморгала верхними веками – отработанный

метод: раз, раз, раз... боль утихла. Ну вот и все. Спасена. Не размыло. Пошла дальше. Походя поддала ногой желтый лист, повернула глаза в сторону магазина «Консервы», где всегда продавались фрукты. Там свет: народ давится за дешевым виноградом. А я – налево, на Арбат, на свидание.

Прошел троллейбус. А, дойду пешком. Погода бодрит. Надо быть сильной. Завтра репетиция в театре. Спектакль на выпуске, и поэтому видеться будем с тобой каждый день, три месяца подряд. Октябрь, ноябрь, декабрь – машинально закладывала пальчики в черной кожаной перчатке, начиная с мизинца. Андрюшенька, я тебя изведу за это время своей красотой, буду улыбаться и завораживать глазами. И купить книги про гипноз. На войне как на войне. Ты от меня отступился, бежишь, еле здороваешься, бежишь, бежишь от любви... Один так тоже бежал, думал, за ним бегут, оглянулся, а там никого... Опять завертелась песенка про лето: «Ах, это лето, лето, лето...»

Что же я натворила летом? Собралась замуж. Ах, Виктор, ах, Таня! Такая пара! Такая пара! Все кричали. Выпускной курс, бал, головокружение... и от выпитого тоже... Его пригласили в Театр имени Вахтангова, а меня в Сатиру. И я уехала в Ригу на свои первые гастроли. И все. Я забыла все – Виктора, маму, улицу, на которой я живу, город. Все. Весь мир сконцентри-

ровался на берегу Балтийского моря в Риге, в Театре оперы и балета, в котором мы играли. В нем, в Андрюше с глазами цвета синьки, с пшеничными волосами и с накрахмаленной уверенностью в жизни, по которой он так весело ступал. Какой-то очень опытный Купидон со спецзаданием пустил в нас две стрелы.

«Любить – это прекрасно!» – только и слышишь от тех, кто никогда не любил. Кончик стрелы всегда смазан лекарством, которое сначала анестезирует боль, ввергает в эйфорию... А вот потом, потом... А потом приехал Виктор. На машинах с компанией из МГИМО. Я даже не поняла, кто это, когда он вошел в мой номер в гостинице. И все было с ним как прежде, до Риги. Только ночью – мы были вместе, рядом – я бредила, плакала и звала Андрюшу. Он все понял и на следующий день уехал к мгимошникам на побережье в сторону Саулкрасты. Андрей все знал. Отстранился от меня, здоровался сквозь зубы, и не было никакой надежды... Я не смела объяснить ему, что не могла дать наотмашь человеку, который меня любил, рыдал у меня на груди, будучи двадцатилетним здоровым парнем. Это было в Красноярске в студенческой концертной поездке два года назад глухой ночью в каком-то переулке под акацией, на деревянной скамье... Рыдал оттого, что его, то есть их с матерью, когда-то бросил отец ради другой женщины. Эта отроческая боль на-

копилась, прорвалась и залила мою белую кофточку слезами. Через много лет этот самый Виктор оставит свою жену и двух мальчишек ради другой. «...Аптека, улица, фонарь». Будут ли они рыдать, уже будучи взрослыми парнями, по этому предательскому поводу или нет – мне неизвестно. Наверное, будут, если найдется такая «жилетка», как я.

Вышла на Арбат. Конечно, у меня нет знаменитых родителей – Мироновой и Менакера! Нет квартиры, дачи, машины... У меня даже туфель приличных нет. А эти, что у меня на ногах, – единственные, и пока денег нет купить другие. И это обидно, потому что в дар получила очень красивые ноги. Ноги... ноги... босые бежали по хвое среди сосен к озеру. Вместе с картиной лета опять подкатил ком. Не мог, не мог ты забыть эти озера, как накинутае на землю голубые платки. Не мог! Мы проводили ночи в лесу под небом. Кричали птицы, бродили сосны... первые лучи солнца скользили по воде. Я бегу, вызываяще голая, в холодное озеро, а ты – за мной, топить меня, чтобы я никому не досталась. А я – тебя. Ты и целоваться-то не умеешь: все как-то в губы тыкаешься, как будто ищешь защиты. Въезжали в пустынную Ригу на рассвете, быстро влетали в свои номера, чтобы не засекали артисты – террариум единомышленников – и не поняли, что мы вместе и влюблены. Как будто это можно было

скрыть! А как ты кричал на всю Ригу в 4 часа утра: «Нет, вы посмотрите, как она похожа на мою мать! Нет (еще вдохновеннее), вы посмотрите, как она похожа на мою мать!» К кому ты обращался в 4 утра? Пустая Рига. Кому ты кричал? И очень интересно этим латышам, как я похожа на твою мать! Это мне было интересно.

Я расшифровала этот вскрик как признание в любви, как вспышку чувства ко мне. А это оказалось вовсе не ко мне, а к ней, про которую ты кричал! Мы бежали и прыгали от счастья и не могли знать, что нас незримо и неотступно – и на озерах, и в стогах сена, и на белом песке побережья – сопровождает образ царя Эдипа в блеске своего разрушительного комплекса. И твоя мать, в которую была заложена эта Эдипова мина. Годы, годы пройдут, и мы будем все по очереди подрываться на этом заминированном отрезке жизни. Кто-то выживет, кого-то контузят, кто-то погибнет. Тогда, на улицах Риги, прыгая от счастья в рассвете дня, мы этого не знали. И не могли знать. А если бы даже знали – ничего нельзя изменить, как этот путь, которым я иду по Арбату на свидание к малознакомому и нудному Чапковскому! Ну не сидеть же в 22 года дома!

Театр Вахтангова втягивал в себя последнюю волну зрителей. Только я поравнялась с первой серой колонной здания, в ухо хлопнуло, как выстрел: «Ты куда

идешь?» Лицом к лицу – Андрей, Андрюша, Андрюшенька. А вслух вызывающе ответила:

– На свидание!

– К кому? – требовательно спросил он.

– К Чапковскому!

– Кто это?

– А тебе какое дело?

Не успела договорить, как была схвачена за шиворот. Рядом стояла машина «Волга». Во время моего диалога в салон с другой стороны вползли две склеенные девочки. Кто-то мужского рода сидел на первом сиденье, в темноте я не разглядела. Он схватил меня за шиворот моего нового, добытого в комиссионке пальто, открыл дверь и вдвинул меня на заднее сиденье. Открыл переднюю дверь, предусмотрительно нажал кнопку, чтоб я не выскочила, сел за руль, дал газ, и через десять минут мы оказались на Красной Пресне в Волковом переулке. Как под конвоем он ввел меня в подъезд, втолкнул в лифт, поднялись на седьмой этаж, и все вошли в его однокомнатную квартиру.

Тогда Андрею было 25 лет. Процесс познания жизни происходил болезненно для всех живущих и произрастающих рядом. Музыка, топот, танцы напоминали бомбежки. Во избежание скандала родители построили мальчику квартиру, где он с упоением мог предаваться оглушающей новизне бытия.

Квартира совсем маленькая, по теперешним меркам. Кухня – 5 метров, комната – 18. Разделена полкой для книг на две половины. «Гостиная» и «спальня». В «гостиной» – стол, стулья, кресло, магнитофон. Стена расписана по обоям художником – приятелем Львом Збарским, известным и тем, что отец его баллазамировал рыжего и картавого Ленина. Роспись такая: на стене два человека по диагонали друг к другу, руки в стороны, ноги в стороны и две головы. Модерн. В «спальне» тахта. В рамке на холсте образ Матери Божией. Занавески на окне – серые, холстинные.

В пути я поняла, кто сидит с Андреем рядом в машине. Артист из театра «Современник». Они снимались вместе в фильме «Маркс и Энгельс». Энгельс с вытянутым носом, видать, с комплексом Наполеона, как все маленькие мужчины, – самоутверждающийся бабник. Все друзья пользовались Андрюшечкой и его холостяцкой квартирой. Разделись в передней. Я сразу отделилась от них, пошла в сторону «спальни», села на тахту, взяла книгу (оказался Голсуорси) и стала читать. Они скучились на другой половине – смех, реплики, шампанское, бутерброды, сигареты, дым. Под Фрэнка Синатру они сцепились с этими бабами тело к телу, как клещи, и, шаркая ногами, стали обозначать танец. Я сидела с прямой спиной перед открытой книгой и исподволь, сквозь полку наблюдала их эротиче-

скую возню. «Дура. Как я позволила себе попасть в такую глупую ситуацию. Это мой самый большой провал. Что делать... что делать... что делать... что делать...»

– Танечка! – вдруг ироничный и ласковый голос Андрея. – Когда люди читают книги – они переворачивают страницы!

И смех. Надо мной. Смотрю на них – бабы страшные, дешевки, какая-то шушера. А им все равно, лишь бы тело было. Вдруг Андрей вошел в кухню, открыл холодильник, достал бутылку и обратился к присутствующим:

– Это настоящее французское шампанское! Мне его подарили с условием, что я его выпью со своей женой.

А я сижу с книгой и все принимаю на свой счет. Ну не на счет же этих случайных рыл? Он артистично открыл бутылку, наполнил два бокала, подошел ко мне и, впиваясь в меня своими синьковыми глазами, предложил: «Выпьем?» Мы улыбнулись искренно, но предупредительно... Чокнулись и выпили до дна.

– Что ты читаешь? – посмотрел на обложку. – А-а, Голсуорси, это любимый писатель мамы.

По незнанию тогда мне это тоже польстило. Ах, если бы знать... И исчез за книжной полкой.

Фрэнк Синатра стал петь громче, речь развязнее

и пошлее, вскрики, хихиканья... Энгельс отвел его в сторону и стал что-то страстно и недовольно шептать, перебирая матом. Я сидела с книгой, так и не перевернув ни одной страницы. «Жуткое унижение. Что-то надвигается...» – думала про себя. Плавно, с улыбкой Андрей подошел ко мне и четко выговорил: «Танечка, теперь тебе надо уйти. Немедленно». – «Хорошо, – сказала я кротко. – Только можно я скажу тебе два слова? На кухне». Мы вошли в кухню, я закрыла за собой дверь, сорвала со стены алюминиевый дуршлаг и запустила в него что есть мочи. Он увернулся, схватил половник, я – сковородку, полетели чашки, стаканы, кувшины, тарелки... все вдребезги! Он хватал меня за руки, я вырывалась и, когда вдруг кинулась к табуретке, он меня вдвинул в кухонный шкаф. «Поцеловать или дать в морду?» – наверное, пронеслось в его сознании. Это была наша первая упоительная драка, во время которой мы не произнесли ни слова.

Потом устали. Я вышла из кухни, собираясь уйти навсегда. Никого. Никого не было. Ни Энгельса, ни этих двух рыл. Сбежали. Андрей вышел из кухни. «А где все?» Открыл дверь на лестницу – никого. Только одиноко допевал свою песню Фрэнк Синатра. Надевая пальто, я победоносно заявила: «Вот теперь я могу уйти!»

– Танечка, нет, нет... Я тебя прошу... не уходи!

Стали собирать осколки. Убираться. Выносить мусор в мусоропровод. Он вдвинул пластиковую пробку в горло начатой бутылки шампанского, выключил свет.

– Прошу тебя, – серьезно сказал он. – Сейчас поздно. Поедем на Петровку? Поедем.

На Петровке, в Рахмановском переулке, в квартире родителей я пошла в ванную принять душ. По шее, по груди, по животу лились черные струи туши, соединенной с мылом и пудрой для эффекта удлинения ресниц.

Вошел он, встал у косяка двери, долго смотрел на эту картину.

– Господи, как я люблю тебя... – споткнулся на слове, покраснел и добавил: – Когда ты ненакрашенная.

Взял мочалку, намылил, посадил в ванну и стал мыть: руки, пальцы, шею, грудь, спину... и всю – так тщательно! Потом вылил шампунь на волосы, ловкими движениями, как у парикмахера, вымыл голову, вытер всю полотенцем, причесал, укутал своим синим вылинявшим махровым халатом и занял мое место под душем.

Я сидела на стуле в большой комнате и ждала. Передо мной висел портрет его матери, известной артистки. Вероятно, на юге, думала я: в соломенной шляпе, полями вниз, с голыми плечами, с милой улыб-

кой и лисьей двусмысленностью в глазах.

– Что будем есть? – услышала я голос, от тембра которого и через тридцать лет начинает бешено стучать сердце. Я подошла к стене, где красовалась коллекция первого советского фарфора – гордость семьи. Разноцветные тарелки с изображением серпа и молота. «Слева молот, справа серп – это наш советский герб. Хочешь жни, а хочешь куй...» Теперь эта коллекция находится в музее на Делегатской. Подошла, взяла две тарелки, вымыла, вытерла, поставила на стол. Он прямо закричал:

– Мама сошла бы с ума, если бы это видела! Нельзя! Это коллекция!

– Подумаешь, нельзя... Можно. Что мы будем есть? Он принес из холодильника килограммовую банку черной икры, оказалась – зернистая, хлеб и две столовые ложки. Открыл прихваченное с собой шампанское, налил в бокалы, прямо посмотрел на меня. Мгновенно в глазах его мелькнул трагический кадр, и он произнес:

– Я ведомый. Мне нужен ведущий.

Глава 9. Таинственные репетиции

«Бюстгальтеры на меху, бюстгальтеры на меху!», «Абажуры любой расцветки и масти. Голубые для уюта, красные для сладострастий. Устраивайтесь, товарищи!», «Я, Зоя Ванна, я люблю другую. Она изящней и стройней, и стягивает грудь тугую жакет изысканный у ней», «Лучшие республиканские селедки! Незаменимы при всякой водке!», «Чего надо этой лахудре? Чего вы цепляетесь за моего зятя?», «Ну и милка, ну и чудо – одни груди по два пуда», «Воскресли и издеваются! Черт с вами и с вашим обществом! Я вас не просил меня воскрешать. Заморозьте меня обратно!» – марш как в цирке, аплодисменты. Мы сыграли спектакль «Клоп» Маяковского. Все бегут с лестницы через три ступеньки. На волю. В раздевалке Андрей молча кивнул мне головой и глазами показал на дверь. Мы вышли. У стендов с портретами артистов нас ждал Менакер.

– Танечка, познакомься, это – папа!

– Здравствуйте, Александр Семенович!

От знакомства с папой внутри заиграло что-то веселенькое. Мы втроем двинулись в сторону улицы Горького.

– Что у вас с Фришем? Как его «Дон Жуан»? – игри-

во спросил Менакер.

– Репетируем... и Дон Жуана, и любовь, и геометрию! – сказала я.

– Как этот мерзавец на сцене? (Мерзавец – это Андрей.)

– Мерзавец недавно всех сразил. Читал на репетиции, представляете, так вдохновенно, Пастернака... «Во всем мне хочется дойти до самой сути...», особенно в сердечной смуте... ну и в поисках пути немножко. А он вам не рассказывал?

– Ничего не рассказывал! Мерзавец!

– Был шквал аплодисментов, все хлопали. Неожиданно на репетиции Фриша вдруг – Пастернак!

Мы прошли мимо Зала имени Чайковского, свернули на улицу Горького. Менакер незаметно разглядывал меня с головы до ног. Внимательно слушал, что я говорю.

– А у тебя там какая роль? – спросил он.

– Донья Инесса. Маленькая роль, но все равно интересно. Пьеса очень необычная.

– Какой у тебя там текст? – опять поинтересовался он.

Мы уже сравнялись с Театром имени Станиславского, оттуда выходили зрители, навстречу шли модные и возбужденные прохожие. Мы разговаривали, улыбались, и я начала:

– Представьте, Александр Семенович, Испания! Севилья. Та-да, пам-пам. На окраине замок. Волшебная ночь, темно, как сейчас. Помните картину Эль Греко «Ночной Толедо»? Сумасшедшая луна, сад, томление, предчувствие любви. Кричат павлины. Я выхожу на сцену одна. Шорох огромных крыльев и крик!

В этот момент мы поравнялись с решеткой Музея Революции, и я заорала на всю улицу Горького:

– Ах, как кричат павлины!

От неожиданности от меня шарахнулись не только Менакер с Андреем, но и все пешеходы.

– У меня такой текст. Я должна его подать громко, с присутствием эротики. Испанской, конечно.

Они смеялись. А я шла, довольная тем, что наверняка разрушила представление Менакера обо мне и что хуже уже не будет, а веселее – да, может быть. Дошли до Бульварного кольца. Мне направо, на Арбат, а им прямо, на Петровку, рассказывать маме, какая у Андрюши новая девочка – Таня. Менакер, прощаясь со мной, ласково сказал:

– Посмотри, Андрюша, какие у нее глазки. А ушки? Что за чудные ушки! – Менакер нежно коснулся моего ушка, и мы простились. Я с благодарностью за человеческое тепло понесла свои красивые ушки и глазки домой.

Место, мой Трубниковский переулочек, удивительное. Это бывший «поленовский дворик». Сохранилась только церковь, возле нее – сквер, местные аборигены называют его «кружок». А рядом с моим домом – бетонная высокая стена, железные ворота, за воротами роскошный особняк Спасо-Хаус, здесь живет американский посол с семьей.

На Рождество, которое у нас было вычеркнуто, у них всегда на улице горит елка, а 4 июля, в День независимости Америки, мы из окон своей коммунальной квартиры, как заключенные, смотрим за границу, в их сад. А там – бал! Музыка! Смех! Фейерверки! Танцы! Дамы, а не «женщина, пройдемте». Господа, а не «мужчина, вы крайний?»! Играет джаз. Я стою, завороженная, со стаканом советского кефира, смотрю через бетонную стену на другую жизнь и озвучиваю свои мысли: «Да-а-а-а, два мира – два кефира!»

Сидим на «кружке» с Виктором. Он меня ждал. Добивается моей любви. Уже поздно, завтра репетиция. Надо быть в форме.

– Я пошла домой.

– Мама тебе шапочку связала. Белую, с козырьком, как ты хотела.

– Спасибо, пора домой. Я устала. В другой раз поговорим.

Он проводил меня до подъезда и ушел во тьму.

На следующий день во время спектакля «Женский монастырь» ко мне подошла Елизавета Абрамовна Забелина и шепотом прокричала:

– После спектакля поднимись к Чеку в кабинет! – И добавила: – Совершенно секретно.

– Что такое? Что случилось? – замахала я крыльями.

– Узнаешь, – таинственно произнесла она. Окраска таинственности означала приятный сюрприз, но по жилам пронесся инстинктивный женский страх. После спектакля я тщательно смыла грим с лица и при помощи косметики сделала «глазастый свежий вид». В платье, разделенном на черные и серые прямоугольники, я поднялась на четвертый этаж и открыла дверь кабинета главного режиссера.

– Входи, Таня, садись, – ласково сказал худрук. – Вот сюда, сюда... поближе ко мне. Ха-ха-ха! Дайте с молодой артисткой посидеть! – оправдывался он, как будто его в чем-то обвиняли.

В кабинете уже сидели Андрей Миронов, В.Г. – Валентина Георгиевна Токарская, актриса уже очень на возрасте. Непонятно, сколько было ей лет, но понятно, что много. Во время войны она попала в плен и знаменита тем, что спасла своего друга, еврея Рафила Холодова. Когда на вопрос немцев, кто он по национальности, Холодов вздумал молчать, Токарская

не растерялась и сказала, что, мол, донской казак – не видно, что ли, по лицу?.. Всю войну она танцевала для немцев, поднимая свои голые ноги. Прежде она работала в мюзик-холле, а после войны, естественно, оказалась в концлагере, где познакомилась с Каплером, вышла за него замуж. Но в этот вечер она была свободна... Брак распался. Рядом с Токарской сидел некто Катанян – седой, благообразный господин. Он-то и перевел пьесу «Круг», которую собирались ставить, с французского.

Муза поэта Маяковского Лиля Брик вошла в гавань своей жизни под руку с Катаняном, став его женой. На каждом спектакле «Клоп» Маяковского в Театре сатиры она буквально лежала в первом ряду, в середине, – в черных касторовых брюках, в черной шелковой блузе, волосы выкрашены в красно-рыжий цвет и заплетены в косу, как у девицы, и эта косица лежит справа на плече, и в конце косицы кокетливый черный атласный бантик. Лицо музы, теперь уже мумии, набелено белилами, на скулах пылают румяна, высокие брови подведены сурьмой, и намазанный красный ротик напоминает смятый старый кусок лоскутка. Красивый вздорный нос. Бриллианты – в ушах, на костлявых и скрюченных пальцах изнывает от тоски несметное богатство в виде драгоценных колец.

Мумия держится на трех точках: ногами упирается

в сцену, шея зацепилась головой за спинку кресла, берцовые кости лежат на самом краю сиденья, ноги вытянуты, позвоночник «висит» на свободе. В письмах в Париж она писала поэту: «Пусик, привези мне хорошенький автомобильчик!» А поэт писал: «Но такая грусть, что стой и грустью ранься!» И ранился. На смерть. А она теперь сидит и смотрит его произведение. О чем она думает? О поэте, об автомобильчике, о старости? Через несколько лет она упадет, сломает шейку бедра и сядет навсегда в кресло. Но «навсегда» длилось недолго. Сидеть? Инвалидом? Никогда! И она пригласила педикюршу, сделала педикюр, надела выходное платье, выпила горсть снотворных и вышла к Пусику в мир иной. Там они разберутся и на счет автомобильчика тоже.

Наконец-то еще одна участница будущего спектакля – знаменитая балерина из Большого с родинкой над верхней губой. Она была элегантна – в черных брюках, в черном свитере. Глаза ее беспрерывно скакали по новым лицам, как будто она что-то искала. Ей предстояло сыграть две роли: драматическую и исполнить балетную партию в пачке. Прочли пьесу по ролям. Бурно обсуждали. Вернее, Балерина обсуждала: она говорила командным тоном, не давая никому вставить слово. Условились о следующей встрече. В театре ползли слухи – «компашка», избранные репе-

тируют по ночам пьесу в кабинете у Чека!

Театр только что отремонтирован, в каждой примерной – телефон, золотые шелковые занавески – все блестит и играет с первого по четвертый этаж.

На первом этаже – раздевалка актерская, как у Станиславского – театр начинается с вешалки и кончается «вешалкой», но об этом позже. Внизу – реквизиторский цех, комната для рабочих сцены, выход в оркестровую яму. А со зрительского входа тоже раздевалка, билетные кассы, администраторская, где сидит любимый всеми Гена Зельман, и большое фойе. Вечерами в нем прогуливаются зрители, а днем – стоят гробы, играет похоронная музыка, плачут, прощаются... Не всегда, конечно, только когда приходит очередь кому-нибудь умирать. Второй этаж – женский этаж! Примерные для актрис. Каждый вечер только и слышно: «Галя! Нина! Принесите мне парик! Сильва Васильевна, у меня ресницы отклеились! Лариса Петровна, где мой кринолин?» Тут же режиссерское управление, где сидит помощник режиссера, к нему с четвертого этажа спускаются распоряжения – кого казнить, а кого миловать. Молодые актрисы постоянно худеют, сидят на рисе, на воде, падают в обморок, не спят ночами, курят, пьют. Есть такие, у которых в шкафчике всегда стоит бутылочка. Просто как у Бунина: «У каждого монаха в келье за иконкой – водочка и колбаска». У бо-

лее старшего поколения, которое расположилось по коридору ближе к сцене, другие проблемы. Одна, скуластая, постоянно продает какие-то шмотки, другая, рыжая, – Пума, все время на стреме – все слушает, запоминает и наматывает на свою узкую пленку. Потом «пленка» показывается в определенном месте – и поездка за границу обеспечена.

Еще одна – Зайка, нервно и судорожно прижимает к груди письмо главного режиссера Чека – ведь был роман, и он сдуру написал ей письмо, теперь, чуть что не по ней, она и показывает ему из недр своей большой груди кусочек документа: смотри, мол, шантажну и глазом не моргну. В следующей примерной сидит жена артиста Папанова, крупная, толстозадая; выходит в коридор и начинает визжать на весь театр: то туфли дали на одну ногу, то платье не сходится – аж захлебывается в своем крике на ноте си. Все шепотом сообщают, что у нее «перестройка» в организме, поэтому не обращайтесь внимания. Вот еще яркая фигура – Таня Пельтцер, секретарь парторганизации. Эта всегда кричит горловым звуком – до «перестройки», во время и после. И в основном – матом. А вот актриса, помешанная на собаках, до 15 лет жила в Америке с родителями, в совершенстве знает язык, помимо театра преподает английский и все деньги ухлопывает на бездомных уличных бобиков.

– Россия – сфинкс! – всегда говорит она.

А я, чтобы ее поддразнить, отвечаю:

– Сфинкс в Египте, а Россия – дохлая кошка!

– Нет! Россия – сфинкс!

– Нет, дохлая кошка!

Ах, вот вышли ножки из примерной, такие стройные ножки, и ямочки на щечках, и вся такая милая, приятная. Никому никогда ничего плохого не сделает... и хорошего тоже.

У Аросевой нет места. Она ничего не играет и не будет играть еще десять лет.

Все шипят, толкаются, лезут! Лезут в репертуар – все хотят играть роли! Артистки! Цветы зла!

Розанов пишет, что женщине противопоказан театр, как вино и сигареты, – биологически: у нее другая природа, и она гибнет! «У нее какая-то хромосома сразу «отбрасывает коньки» при принятии театра, вина и сигарет. И пиши пропало!» – как говорила моя мама.

Японцы, ведающие тайным знанием, и «сообразили» театр «Кабуки» – без женщин. Потому что театр – гибель души, и женской – во сто крат быстрее, чем мужской. Они, японцы, берегут свою нацию, а мы – мордой в дуст. Мы любим гибель!

Женщина – основа нации, основа государства, основа мира. Женщина управляет мужчиной, а мужчина управляет миром. Каков мир – такова и женщина.

Это мы прошли по второму этажу.

Этаж третий – мужской. Буфет. Кофе, яичко под майонезом, гороховый суп и свидания за столиками, за чашечкой кофе. Здесь за столиками решаются личные глобальные проблемы, финансовые кризисы, зреют в мозгах анонимные письма и вызревают адюльтерчики.

Вот одевальщица – тетя Шурочка! Всегда перед спектаклем берет чашечку кофе для Андрея Миронова и неслышными шагами несет ее в гримерную. Она его любит и ухаживает за ним, как мать. На третьем этаже мужчины говорят громкими поставленными голосами, расппеваются: Ма-а-а-аа! Ми-и-и-ии! Мо-о-о-о-о! И тут как у Бунина: «У каждого монаха за иконкой – водочка и колбаска».

Вот Толич, Папанов, генерал Серпилин. Сыграл в фильме «Живые и мертвые» и вышел в дамки! За кулисами всегда клянёт Чека и грозитя уйти во МХАТ с Надькой, а при встрече с Чеком из него вылезает крепостная сущность: как-то сгибается, улыбаясь. Дар-то какой! Золотая руда! А вот Жорик. Сидит, руки сложит, улыбается. Чертовски обаятельный! Пользуется одновременно громким коммунистическим пафосом и интимным шепотом генитальной темы. А вот Спартачок! Старый, а как напьется – падает на колени перед Чеком, захлебывается в слезах, соплях и, положив го-

лову между его ног, на то самое место, талдычит: «Папа, папа, папа! Я люблю тебя!» – вымогает роль.

Этаж четвертый. Элитарный. Начнем с другого конца. Комната заведующего постановочной частью. Ох, как много на этой должности можно наворовать! Следующая комната – отдел кадров. Ну это, как говорят в Одессе: «Не мне вам говорить, не вам меня слушать». Следующая комната – бухгалтерия. Все вежливые – в норках, кольцах: дебет – кредит, прибавочная стоимость, а мы – с голой жопой на снегу!

Марта Линецкая – литературная часть! Отдельный кабинет. Любит кофе, сразу шесть пирожных эклер, мужчин, преимущественно драматургов, и революционные песни. Пишет статьи за Чека, а он за нее получает деньги. Дальше. Директор и замдиректора. Естественно, партийные и даже, наверное, двухпартийные. И вот комната секретаря, а из нее вход в кабинет главного режиссера. Беспартийный еврей, но, как известно, у нас две партии. В кабинете – рояль, стол, диван, как известно, для распределения ролей, портрет Мейерхольда, журнал «Playboy» для поднятия тонуса и поднятия... Здесь Чек или раздевает, или взвешивает: раздевать, или не раздевать, или «вешать», фигурально выражаясь, если он кого-нибудь люто возненавидит. В общем, он над всеми царит, парит, горит, боится и ненавидит. У него и его поколения в крови

гудит сталинский страх. Сколько мысленного дерьма пришлось им вкусить! Сколько тонн лжи переварить! В адских котлах варились их мозги. Здесь вместе с ним в его кабинете постоянно прописаны паранойя и садизм. Частенько они выходят погулять по всем четырем этажам. В специальной литературе описан случай, когда один шимпанзе стал лидером, запугивая других членов стада ударами палки по пустой канистре из-под бензина.

В общем, это осиное гнездо, болото, место группового психоза. С военным акцентом. Потому что все, почти все, на четвертом этаже носят невидимые миру погоны.

Глава 10. «Желаю славы Я!»

Репетиции «Дон Жуана» подходят к концу. Выпал снег. Родители Андрея были на гастролях. Мы жили на Петровке. Вечерами он носился по квартире в трусах, с зонтиком вместо шпаги, приглашая и меня пофехтовать. Я изображала всех действующих лиц по очереди и в конце монолога обязательно вонзала в него свой зонтик. Это был уже не Андрей. Это был Дон Жуан из Севильи. Со мной, по телефону, с друзьями он общался только текстом Фриша, у него появилась другая манера говорить, свысока, как у Дон Жуана – его героя. И так всю остальную жизнь – его, истинного Андрея, будут раздирать на части образы, люди, которых он репетирует, а репетирует он всегда.

Уставшие, ложились спать на зеленом диване под революционным фарфором. Мы никому были не нужны, кроме друг друга. Я удивлялась: как он был в себе не уверен и как нуждался в постоянных доказательствах любви!

– Почитай мне стихи, – просил он и в предвкушении признания и рифмы закрывал глаза.

Не призывай.

И без призыва приду во храм.

Склонюсь главою молчаливо к твоим ногам.
И буду слушать приказанья и робко ждать.
Ловить мгновенные свиданья и вновь желать.

Я понимала, что у него на ткани стихотворения прокрутилось свое музыкальное кино, что он на границе сна, – закрывала глаза, но тут хватал меня крепко за руку и:

– Нет, нет! Еще, еще! – судорожно просил он, так больные просят воды.

Мой любимый, мой князь, мой жених,
Ты печален в цветистом лугу.
Повиликой средь нив золотых
Завилась я на том берегу...

– Ты печален в цветистом лугу, – повторяла я и добавляла: – Цветочек ты мой, в горшочке!

– Так нечестно! – кричал он. – Дальше!

Я ловлю твои сны на лету...

Казалось, что он заснул. Нет, он требовал:

– Почеши мне спинку! – И я чесала и думала: это, наверное, нянька, Анна Сергеевна, научила его чесать спину, как собаке, чтобы уснул. Потом мы наконец погружались в сон. Ночью я внезапно просыпа-

лась от грохота. Пыталась понять, что произошло, что упало? «Упало» Андрюша. Он так часто скатывался с постели на пол под стол красного дерева, иногда даже не замечая этого, продолжал спать на полу, свернувшись клубком, в полосатой пижаме, вздыхать и охать. Приходилось осторожно будить его и возвращать в постель. Что его так мучило? Чем болела его душа? Я пыталась понять, но до конца не могла. Он был необычайно раним, скрытен и многое держал в себе. Но утром в душе он был уже на взлете и вдохновенно читал Пушкина:

Когда, любовью и негой упоенный
Безмолвно пред тобой коленопреклоненный,
Я на тебя глядел и думал: ты моя, —
Ты знаешь, милая, желал ли славы я...
И ныне
Я новым для меня желанием томим:
Желаю славы я, чтоб именем моим
Твой слух был поражен всечасно, чтоб ты мною
Окружена была, чтоб громкою молвою
Все, все вокруг тебя звучало обо мне!

Эти стихи станут главной темой его жизни. Власть матери с самого раннего детства деспотическими выпадами разрушала его психику, рождала неуверенность в себе и страх. Романы и романчики, которые

ми были набиты все семьи, смерчем отзывались в душе детей. И Андрей в Пярну на отдыхе стоял рядом с мамой, папой и маминым «другом» возраста Андрея, заразительно смеялся и шутил: «Вы посмотрите, какой у меня появился новый братик». А потом в номере впивался зубами в наволочку и рыдал в подушку. И в первых опытах личной жизни потерпел фиаско. Треплевская ситуация из «Чайки» – когда не нужен двум главным женщинам на свете. Вот тут он выбирает славу! Слава избавит его от мук и сомнений! Она, слава, как египетская пирамида или как вера в Бога и бессмертие, выведет его из границ бытия и вознесет на уровень неразрушимости. И вернет ему мать... и всех, кого он захочет.

Чтоб, гласу верному внимая в тишине,
Ты помнила мои последние моленья.
В саду, во тьме ночной, в минуту разлученья.

– Желаю славы я! – докричал он из ванной последние строчки, мы съели по яйцу и понеслись на репетицию в театр.

Вечером после спектакля мы опять собрались в кабинет худрука – репетировать пьесу «Круг». У известной Балерины в ушах – бриллианты, она опять в черном. В этот вечер она была особенно агрессивна и раздражена. Прочли по ролям. Не давая дочитать

фразу, она «вставляла» каждому исполнителю:

– Что вы так читаете? У вас темпа нет, надо скорее!

– А вы вообще ничего не понимаете, надо понимать!

– А это вообще невозможно! Так двадцать лет назад произносили.

– Эту фразу надо вычеркнуть. Она здесь не годится!

Чек сидел, испуганно глядя на нее, все испытывали неловкость. Но потом быстро сняли напряжение, обезвредили ее комплиментами, и все одновременно посмотрели на часы.

– Сегодня больше не будем «танцевать», в другой раз, – сказал Чек, обнял Балерину за худые плечи, и мы стали спускаться вниз. Внизу она красиво сняла с вешалки суконную красную ротонду, накинула на себя, она была ей до пят, красивый красно-черный вихрь в стиле Пьера Кардена. Пока я заглядывалась на это пламя, Андрей уже надел куртку и... Она подталкивала его в спину:

– Иди в машину! – спустилась с лестницы и воткнула его в стоящую рядом серебряную иномарку. И увезла.

Через несколько дней Дон Жуан сбежал из «Ситроена». Видать, командная система знаменитой представительницы такого романтического жанра, как ба-

лет, жутко напугала парня – ведь под простынями не в армии: там нужны скрипки и флейты. И уже с лицом, на котором лежала печать вины, Андрей настигал меня в буфете за столиком и, нервно жестикулируя, оправдывался:

– Что ты нервничаешь? Мы только проехались в «Ситроене». Ой, какая машина! И она мне подарила пластинку «Кармен-сюита» своего мужа, Родиона Щедрина.

– «Кармен» – это Бизе! – возмущалась я.

– А сюита – Щедрина! – доказывал он. – О-о-о! Какая музыка! В конце концов, мне нужно в роль войти! Ну, прости, прости, прости меня... Танечка, сегодня поедем на Петровку... Что такое? Не бросай меня, жди внизу... после спектакля.

Но я молча объявляла карантин, после спектакля быстро переодевалась и убегала домой.

Так на пьесе «Круг» был поставлен крест. А мы всю осень и начало зимы – до конца декабря – жили в состоянии «качелей». Дон Жуан был неистощим в своих коварных приемах. Часто, когда у нас не было спектаклей, он звонил мне домой в пять вечера и говорил:

– Собирайся, через полчаса я перезвоню, и поедем в гости.

Я начинала собираться. А ведь всего только полча-

са! Надо было сделать прическу, намазать тоном лицо, сделать глаза, придумать наряд – и вот я уже сижу, жду у телефона.

– Кое-что не складывается... сейчас не могу... позвоню через час. Сиди и жди! Целую... – говорил он.

И я сидела и ждала. Через час он звонил – я опять должна подождать... немножечко... и поедем. Последний раз он звонил в одиннадцать вечера:

– Уже поздно, сегодня ничего не получится... а ты нафершпилилась? – Это было его любимое слово. И смеялся. Он был доволен, что его тактический ход удался, а я оказалась такой доверчивой дурой. Я раздевалась, шла в ванную смывать с себя маску красивой и уверенной в себе женщины, ложилась в постель, свертывалась клубком и, прерывисто вздыхая, на грани плача, засыпала.

Наконец 25 декабря – премьера! «Дон Жуан, или Любовь к геометрии». Декорации и костюмы – чудо-художника Левенталя, по сцене двигаются люди и живые собаки – доги. Обвал аплодисментов: «Мионов, браво!» Слава не замедлила явиться – он так ее желал! Это была победа. Андрей воодушевлен и счастлив. Как истребитель, он резко набирал высоту.

27 декабря в ВТО (Всероссийское театральное общество) в ресторане состоялся банкет в честь премьеры.

Во главе стола сидел Чек, вокруг него все участники спектакля. Это был мой первый официальный банкет. У опытных подхалимов появилась возможность сказать несколько тривиальных в своем подхалимстве тостов, у любителей алкоголя – выпить... Кто-то складывал еду в целлофановые пакетики, сливал водку в бутылки... Гудели, хлопали в ладоши, кричали. Эмоции захлестывали. Мы с Андреем вышли на пяточок танцевать. На нас, как говорят в театре, смотрели две тысячи пар «дружеских глаз». Вышли на улицу поздно, почти последние. Я в серой цигейковой шубке, а он в сером китайском пальто из плащовки на меху с коричневым воротником. Было безлюдно, шел косяк энергичный снег. Мы стояли и мечтали хоть о какой-нибудь машине. У меня уже начали «ехать» ресницы, мы тряслись от холода, когда около нас наконец притормозил автомобиль класса «каблук». Красный. Место в машине одно, рядом с шофером. Он оказался веселым и косноязычным. Узнав, что нам на Волков переулок, открыл перед нами двери багажника, а там! Одна скамейка, а все остальное пространство заставлено до потолка подносами с пирожными.

– Я только развезу пирофные по булофным, а потом вас на Волков. Ефте, не тесняйтесь. Это не нафе – государственное! Ха-ха-ха-ха!

Запер нас на замок, и мы поехали развезить пирож-

ные по булочным. Все так быстро перемешалось – декорации Севильи, Испания, шпаги, «Миронов, браво», Дом актера, печеночка с луком, сациви, водка, танцы, а теперь в полной тьме мы едем в «каблуке», запертые на замок, поглощаем эклеры, наполеоны, картошки, корзиночки и поем во весь голос «Мне декабрь кажется маем!». Часам к четырем утра мы попали домой. Шофер простился с нами:

– Денег не надо, хорошие ребята. Мне с вами было весело – вы так смеялись, пели... Фалко только, я не флыфал ничего.

Дома Дон Жуан включил музыку и воду:

– Саския, иди сюда, на колени!

Я уселась поудобнее к нему на колени. Он стал целовать руку, кусать рукав, потом укусил в плечо вместе с платьем, ухо, нос... Он не переставал играть. Но когда мы стали гнуться из вертикального положения в горизонтальное, я вырвалась, побежала в другой угол комнаты и заявила:

– Нет! Мужчина – охотник! Побегай за мной!

Он бегал за мной по восемнадцатиметровой комнате, по маленькому коридорчику, опять по комнате, по кухне, опять по коридорчику. Задыхались от смеха. А утром под музыку Рэя Чарльза, оба в полосатых пижамах, обнявшись, дотанцовывали вчерашний танец.

– Что тебе показывали во сне? – спрашивал он...

Но надо было позвонить родителям. – Аллё, мама, это я. Как вы? Что такое? Почему такой крик? Я скоро приеду.

Глаза его потухли, на лицо легли тень и боль, как будто его дернули за строгий ошейник.

– Ты где встречаешь Новый год? – спросил он осторожно.

Я ждала этого вопроса и, чтобы его успокоить, что я ни с кем-то там танцы-шманцы-обжиманцы, сказала:

– Если не с тобой, то у брата.

– Я должен быть с родителями. У нас будут гости и Чек с женой. Я всегда встречаю все праздники с родителями. Но если хочешь, я за тобой заеду часа в два ночи, и мы поедem на Воробьевы горы.

– Конечно, хочу!

Но мой внутренний цензор сообщал: «Да-а-а! Что же это такое? Такая зависимость от родителей! И я заметила, когда их нет в Москве, он живой, естественный, свободный! А когда они приезжают, сажают его на цепь. Он становится дерганным, и проявляется печать страдания на лице».

Мне такие отношения казались дикими – с детства я была совершенно самостоятельным существом и предоставлена сама себе. И где-то в непроявленном мире моего бессознательного его акции падали.

Новый, 1967 год пришел в ясную и морозную ночь.

– Где познакомились с Большой Медведицей?

– Нет! Я не об этом! Откуда ты знал, куда надо свернуть, чтобы попасть на озеро?

– Я искал это место несколько дней, чтобы потом поехать с тобой.

– Ты такой рациональный? Но ты и не рациональный!

– Я организатор иррациональности! Вот! Сейчас я придумал формулировку – эмоциональный рационализм.

– Все проверяешь головой.

– Наверное, я раньше не думал...

– А святые отцы говорят: спусти ум в сердце...

7 января я была приглашена на Петровку на день рождения мамы, Марии Мироновой. На Арбате купила резную шкатулку из дерева, насыпала туда трюфелей и с букетом красных гвоздик отправилась на суаре. В прихожей висело много пальто и шуб. Андрюша подвел меня к маме, я вручила подарок, произнесла поздравления, получила «спасибо» и села на «свой» зеленый диван. Квартира была полна друзьями Мироновой и Менакера, на столе – маленькие слоеные пирожки, запеченный гусь, огурчики, вареная картошка, посыпанная укропом, водка.

– А это – восходящая звезда Театра сатиры, – представила меня гостям Мария Владимировна.

Я повернула голову в сторону Андрея, он счастливо улыбался. В ушах у Марии Владимировны висели завидные жемчуга. Завидные, потому что все завидовали и говорили: ах, какие жемчуга! Они придавали весу и без того ее весомой и одаренной натуре. Она говорила громко, поставленным голосом – моноложила.

Менакер же вставлял остроумные реплики, рассказывал анекдоты, открывал крышку рояля, на котором стоял бежевый кожаный верблюд, набитый песком Сахары, и пел, снимая напряжение, которое «вешала» его напористая задира-жена. Мария Владимировна показала мне свою комнату – иконы! Лампадочка с экраном, на котором изображена «Тайная вечеря», вручную вышитая бисером монашками Богородица XVII века с младенцем. И два больших штофа на туалетном столике. В одном из них в темно-зеленой жидкости плавали заспиртованные гвоздики, в другом – розы. Я не могла от них оторваться! Аквариум с цветами! В этом доме было изобилие счастья и разделение на Марию Владимировну и всех остальных. Все говорили о премьере «Дон Жуана» в Театре сатиры, об Андрее, это была сенсация. Я опять сидела на зеленом диване, счастливая «восходящая звезда» – румяная, глаза блестели, ресницы после трудной и ювелирной работы над ними стояли, как роща над озером. И вдруг я услышала:

– Вы Чеку все должны жопу лизать! – Это сказала, вернее, изрекла она, мама. Люстру качнула невидимая судорога, которая повисла в комнате, гости застыли в немом страхе. Все боялись Миронову. В наступившей тишине я услышала свой голос:

– Считаю, что жопу лизать вообще никому не нужно! – И откусила пирожок с луком и яйцом.

На лице Андрея мелькнул ужас, у Менакера – растерянность, смешанная с неловкостью, у всех остальных ухмылки. На «оракула» я не смотрела – понимала, что это страшно. Но я услышала все, что она не сказала вслух, – начинается война, а у меня нет ничего – ни пехоты, ни конницы, ни артиллерии, а у нее есть все! И лучше мне сразу встать на колени и сдаться! Потому что если враг не сдается – его уничтожают, а если сдается – его тоже уничтожают. Через пять минут все вспомнили про гуся и забыли эту историю, все, кроме Марии Владимировны. Она была очень злопамятна и расценивала мой выпад так, как будто это было восстание Емельяна Пугачева.

Гусь аппетитный, с золотой корочкой, начиненный антоновскими яблоками – кому спинку, кому – гузочку, кому – ножку, а мне пронзительный взгляд мамы, как тройной рентген. Потом поменяли скатерть! Чай!

– Брак – это компромисс, – еле сдерживая огненную лаву, громко отпечатала Мария Владимировна.

А я дерзко парировала, но уже про себя: «Сначала маленький компромисс, потом – большой подлец!»

Невидимая судорога продолжала висеть под потолком, качая люстру и мои нервы, и я чувствовала двойственность знаменитой артистки: она была жена, хозяйка дома, мать, но под этим жирным слоем наименований скрывалась ревнивая соперница. Тамбовская бабушка торчала из-за лица Марии Мироновой и, казалось, приговаривала:

– Всех под каблук! Всех под каблук! Весь мир под каблук!

А тут еще убойный коктейль тамбовской бабушки с греческим царем Эдипом... Все это ударило в голову, в сердце, ноги подкашивались. Попрощавшись, я с трудом вышла на улицу.

Шла по занесенному снегом Арбату и думала над предложением «лизать жопу». И понимала, что я – тоже совковая обезбоженная жертва. Библия издавалась во всем мире, кроме ЭсЭсЭсЭр и Кубы. А там: «...ибо я полон, как луна в полноте своей. Выслушайте меня, благочестивые дети, и растите, как роза, растущая на поле при притоке; цветите, как лилия, распространяйте благовоние и пойте песнь, благословляйте Господа во всех делах; величайте имя Его, и прославляйте Его хвалою Его, песнями уст и гуслиями и говорите так: все дела Господа весьма благотвор-

ны, и всякое повеление Его в свое время исполнится; и нельзя сказать: «Что это? для чего это?» – ибо все в свое время откроется!» И про жопу не сказано ничего. Дошла до «кружка», сняла со скамейки пышный выпавший снег, сжала в кулаке, чтоб был твердый, и стала растирать лицо, щеки...

Глава 11. Старый селадон

Через несколько дней в театре на доске объявлений прочла распределение ролей в пьесе А.Н. Островского «Доходное место». Миронов – Жадов, там же – Пельтцер, Менглет, Папанов, Васильева, Пороховщиков, Защипина... Мне досталась Юленька! Режиссер спектакля – Магистр. Кот в мешке. Завлит Марта Линецкая интуицией нащупала этот «нафталин» – Магистр был совсем не в восторге, он морщил нос при виде «Доходного места» и не подозревал, что начинается отсчет времени его новой жизни. До Театра сатиры он служил в Театре миниатюр артистом. У него была навязчивая идея – часто в поезде, который мчал труппу на гастроли, он подбегал к двери вагона, распахивал ее и кричал:

– Слабо спрыгнуть и начать новую жизнь?!!

Она начиналась – ему было 33 года. В моей душе порхали бабочки и стрекозы счастья! Роль! И с Андрюшей в одном спектакле!

На «Дон Жуана» было невозможно достать билеты. Приходила вся светская Москва, включая директоров овощных и продовольственных магазинов. Мы, молодые артистки, старательно накладывали на себя тонны грима, надевали якобы испанские парики, вешали

в уши «испанские» серьги...

Во время спектакля – телефонный звонок в примерную, подходит актриса:

– Таня Егорова, тебя к телефону – главный режиссер Чек.

Беру трубку: «Здравствуйте» и слышу:

– Таня, зайдите ко мне в антракте.

Дрожь пробегает по всему телу. От страха. Зачем? После первого акта на лифте сразу поднимаюсь на четвертый этаж, стучу в дверь.

– Входите!

Вошла. Сидит милый с добрыми глазами старичок в блестящем сером костюме. Лысый с бордюром. Он бодро встал, вышел вперед, прищурил один глаз и сказал:

– Таня... сегодня 25 января! День твоих именин!

– А я и забыла!

– Я тебя поздравляю, – торжественно продолжал он, – и дарю книгу.

Взял авторучку и стал подписывать. Подписал, подошел и вручил. Открываю титульный лист, читаю: «Дорогой Тане в день ее именин! Чек». В моем сознании пронесся вихрь со скоростью перематывающейся пленки: «Мама забыла, все забыли, а он вспомнил! Что же делать? Жопу лизать, жопу лизать! Нет! Нет! Руку пожать! Нет! В щечку поцеловать! Или только ру-

ку пожать? Ах, какой милый! Однако глаз, глаз, глаз прищурил как-то странно! В щечку поцеловать или жопу лизать, в щечку поцеловать или жопу лизать?»

Пока происходил процесс взвешивания «духовных» ценностей, Чек присел на одну ногу, прицелился и на мысленной фразе «поцеловать или жопу лизать?» прыгнул на меня, как павиан на пальму, и вцепился руками и ногами. Я стояла выше его на три головы на высоких каблуках, в парике, в бархатном зеленом платье с открытой грудью, в «испанских» серьгах. Я никак не ожидала от него такой прыти. Он стал меня бешено целовать – сначала впился в размалеванные губы, а потом – в грудь, потом – в шею... Красный грим отпечатался на его выпученных губах, носу, ушах... От него пахло смесью тлена с земляничным мылом. С трудом оторвала его от себя и рассмеялась: – Вы... Мэри Пикфорд! Ха-ха-ха! Вы посмотрите на себя! Мэри Пикфорд! Нет, вы похожи на клоуна... Ах! Третий звонок! Мне на сцену! – И с повышенной тревогой рванула от этого крошки Нерона.

Выбежав из кабинета к лифту, я оглянулась. Никого! Подняла подол и изнанкой платья стала вытирать грудь, шею и лицо от красных отпечатков. Я догадывалась – весь театр уже знает, что меня вызвал Чек в кабинет, и все напряженно ждут моего возвращения. На женском этаже уже никого не было – все пошли на

сцену. Я успела забежать в примерную, посмотретья в зеркало, снять остатки поцелуев. Вздохнула, положила книгу в сумку и побежала на сцену.

– Ну что? Зачем он тебя вызывал? – допытывались артистки.

– Он мне сказал, что я должна на сцене в «Дон Жуане» говорить тише. Действие происходит ночью и нужна атмосфера тайны.

На сцене мы с Андреем встретились глазами, он прочел в них нечто такое, что заставило его постоянно оглядываться на меня и спрашивать взглядом: что такое, что случилось?

После окончания спектакля по коридору нашего женского этажа мы возвращались со сцены. Чек сидел в примерной своей фаворитки, дверь была открыта настежь специально, чтобы я его видела. Он сидел нога на ногу. Мы встретились взглядом, как скрестили шпаги. За все надо платить, говорили его холодные глаза.

«Да, конечно... Испания... Севилья, – думала я, – но начинается следующее действие – коррида».

Поздно вечером смывала с себя мерзкие прикосновения, смесь запаха тлена с земляничным мылом, и передо мной вырастал вопрос в виде ужаса перед будущим. Гойя – «Капричос». Но я была уверена в своем таланте, в своих силах, в своем упорстве и тогда еще

не знала, что все это не имеет почти никакого значения в извращенном мире корысти и лжи.

Глава 12. Мы должны сделать выстрел во французской опере

На Пушкинской улице на стене дома стиля модерн торчала вывеска «Ломбард». Во двор свернули две фигуры, одна – высокая, с длинной, чуть согнутой шей, другая – прямая, с твердым шагом, жестикулирующая руками. Шли энергично, торопясь. Вошли в дверь, стали подниматься по лестнице, почувствовали запах нафталина, который ассоциировался с отсутствием денег. Навстречу им спускались, о боже, какие лица! Мордастые торговки, заложившие бриллианты, чтобы заплатить недостачу. «Цыганы шумною толпой...» в домашних тапочках, счастливая напудренная старушка в шляпке – из бывших, видать, наскребла последние чайные серебряные ложки, два парня с лицами взломщиков на ходу судорожно пересчитывали деньги, студентки – добыли в магазине сапоги, заложили, через три месяца прокрутятся и выкупят. Две фигуры быстро поднялись по лестнице, в зале – шум, перепись, крики! В одном окне кричат, что больше принимать не будут. И у двух фигур сжимается и без того уже сжатое при входе в этот ад сердце. Но фигуры оказались ловкими – просунули головы в окно к администратору:

– Адочка, возьмите у нас кое-что... мы вам билеты в театр принесли... третий ряд.

Адочка кричит на весь зал:

– Галина Григорьевна, примите у девочек без очереди! – посмотрела на билеты и спрятала в стол. Девочки – это мы с Пепитой. Она принесла столовое серебро, а я золотое кольцо и три старинные серебряные вилки. Мучительное заполнение квитанций, данные паспорта, крик в зале:

– Не принимайте у них – они без очереди!

Галина Григорьевна из окна:

– Кто кричал? У вас вообще ничего не приму! И вообще окно закрою!

Разглядывает в маленькую лупочку пробу, взвешивает наши ценности на весах с малюсенькими гирьками. Но наконец деньги в кармане. Ура! Мы с Пепитой счастливые спускаемся пулей с лестницы, рядом в магазине покупаем курицу и идем к ней домой на улице Москвина. Там, в глубине двора, старый двухэтажный особняк. Деревянная лестница на второй этаж. В квартире – три семьи. В одной комнате живет Пепита с матерью, рядом в совсем маленькой комнате – отец Игорь Николаевич с собакой Эвочкой, боксером. Эвочка больна, и Игорь Николаевич каждый день кормит ее поллитровыми банками с черной икрой. Остальным членам семьи икра не выдается. Мы

с Пепитой тут же варим курицу с лапшой, с луком, с морковкой, садимся за стол, на кухне. Выходит мама Елена Семеновна:

– Девчонки, вам сегодня удалось быстро справиться.

– Мы познакомились с администратором, Адочкой, всунули ей билеты в театр... и без очереди! – говорит Пепита и предлагает: – Танюль, Танюль, ешь курочку, супчик вкусный. Ох, Танюль, насколько душевная боль страшнее физической, – говорит она, на ее кукольном личике показываются страдающие глазки...

И тут с высокой тумбы, сверху, ей на голову падает электрический утюг – знак опровержения ее резюме. И так всегда. Она – комедийный персонаж, нам вдвоем весело. Четыре года в училище мы не разлучались, жили как сямские близнецы. У них в доме царит совсем другой дух, нежели в моем. Елена Семеновна по-житейски очень умна, доброжелательна, общительна. У нее великий опыт и трезвое отношение к жизни. Царит рацию. В отличие от моей мамы, которая мечтала, парила, утопала в поэзии и грязи жизни с оригинальным умом и запасом выживаемости, но рацию у нее хватало на 45 минут. Все остальное время было заполнено эмоциями. Пообедали. Елена Семеновна закурила сигарету, положила ногу на ногу и начала очередной урок, выпуская дым и выдавая бес-

ценные «рецепты»:

– Сначала надо выйти замуж, а потом позволять себе такую роскошь, как любовь! Да! Любовь – это роскошь! Он должен любить! А вы должны позволять любить себя! Пока ты ему не отдалась – ты хозяйка положения, отдалась – он! И запомните это. Дуры, вы слушаете? Смотрите в карман, а не на лицо! Замуж выйти – улучшить свою жизнь, а не ухудшить! Вы должны сделать «выстрел во французской опере» – так говорил Заратустра!

Мы внимали «Заратустре», пытались усвоить эти уроки, так же положив ногу на ногу, с сигареткой в наманикюренных пальчиках. Какая трудная жизнь – ведь мы артистки! В театре платят 75 рублей, нужно то-се, одеться, и как хочется мохеровую кофточку, а мохер такой дорогой! И, несмотря на уроки «Заратустры», мы все еще оставались без сказочных и далеких мужей с финансами, но зато с близким сердцу ломбардом, который никогда не подводил. Адочка давала сигнал, и мы закладывали все без очереди, опять бежали покупать курицу, варили куриную лапшу, ели, и опять Пепита вздыхала, мечтая о красивой жизни.

– Нет, душевные страдания намного больше физических...

И опять с тумбы ей падал утюг на голову, и опять мы внимали «Заратустре» и думали, как бы это нам

ухитриться в этой жизни сделать «выстрел во французской опере»!

На столе лежал журнал с портретом Жаклин Кеннеди. Пепита смотрела на меня внимательно и говорила:

– Танюль, садись, ты так похожа на нее, я тебя загримирую под жену американского президента.

Она мазала меня тоном «Макс Фактор», подводила глаза, выводила губы, брови и во время «сеанса» рассуждала:

– Зачем тебе нужен Мирон? Что он тебе может дать? Ну подарил он тебе французские духи, ну и что? А дальше? Он мне не нравится, он очень эгоистичный. Мама! Посмотри, как Танька похожа на Жаклин Кеннеди! Вылитая.

Между нами незаметно ложилась тень. Я в театре получала роли, всех раздражал наш роман с Андреем – вкрадывалась зависть. И это так понятно – киньте камень, кто невиновен! Но все равно она была подругой, мы были во цвете лет, нам было весело ходить вместе в гости и на всякие суаре и прикидывать: как бы нам ухитриться сделать «выстрел во французской опере»?

Начались репетиции «Доходного места». С перво-

го дня мы сразу стали очень важными и значительными. Магистр предусмотрительно запомнил наши имена и обращался ко всем по имени и отчеству: Татьяна Николаевна, Андрей Александрович, Наталья Владимировна. Он подпирал нас родовой силой наших отцов. На первую репетицию он принес пачку рисунков на ватмане. Это были эскизы мизансцен на каждый кусок спектакля. Не теряя времени, с начала репетиций он четко определял, кто где стоит, в какой позе, куда идет и в чем смысл сцены. Два раза он не повторял, опоздание на репетицию каралось строгими мерами. Секретарь парторганизации Татьяна Ивановна Пельтцер, исполняющая роль Кукушкиной, народная артистка, была известна скверным характером и тем, что никогда не приходила вовремя. На третье ее опоздание Магистр встал и спокойно произнес:

– Татьяна Ивановна, вы опаздываете в третий раз... Прошу вас покинуть репетицию.

С ней так никто еще не разговаривал, и она, бранясь, хлопнула дверь и пошла наезжать локомотивом на молодого режиссера: немедленно написала заявление в партком о том, что Магистр ставит антисоветский спектакль и что, может быть, он является агентом иностранной разведки. «SOS! Примите меры! Ради спасения отечества!»

На все это умственное повреждение Магистр хлад-

нокровно декларировал:

– Все настоящее дается с кровью!

Через десять лет, уже навсегда отдавшая свое сердце создателю «Доходного места», Пельтцер будет репетировать «Горе от ума» с Чеком. Чек, сидя в зале, не без садистических соображений попросит ее станцевать. Она скажет: «В другой раз, плохо себя чувствую». – «Не в другой раз, а сейчас», – потребует Чек со злобой от старухи. На сцене, недалеко от Татьяны Ивановны, стоял микрофон. Она подошла к нему, сделала паузу и громко, на весь театр, гаркнула:

– Пошел ты на хуй, старый развратник!

В зале сидела новая фаворитка развратника. Театр был радиофицирован, и по всем гримерным, в бухгалтерии, в буфете, в дирекции разнеслось мощным эхом: «Пошел ты на хуй, старый развратник!» Через два дня она мне позвонит домой, сменит хулиганство на жалость:

– Тань, что мне делать? Идти к Магистру в театр или нет?

У Магистра к этому времени был уже свой театр.

– А берет? – спрошу я.

– Берет!

– Тогда бегите, а не идите! Вы себе жизнь спасете!

И ушла. И прожила там счастливую долгую жизнь.

В любви.

Шестым чувством участники спектакля «Доходное место» улавливали, что происходит что-то важное и необычное. Репетировали как будто в другом пространстве и времени. Открывая двери репетиционного зала, мы открывали забытые двери нашего сознания и выходили в другой, тонкий слой мира. Магическая воля режиссера давала импульс обыденному и угнетенному сознанию к творчеству – любимому состоянию Творца. Актеры постоянно открывали в себе новые возможности. Но магом был и Андрей. Обаяние, которым обладал он, не что иное, как магия, способность к магии в чистом виде. Его присутствие завораживало одним своим видом и манерой речи, тембром голоса – и всем окружающим вдруг делается хорошо. Оттого он часто говорил: «Что такое... я не понимаю... ведь я на сцене ничего особенного не делаю, а меня так принимают?» У него была тончайшая психическая структура. Медиумическая. У него открывался канал, который улавливал волны никому не видимого мира, и часто в жизни и на сцене он находился в пограничном состоянии между тем и этим миром. Ему не надо было знать – он все чувствовал.

На репетициях и потом на всех представлениях через него волей Магистра подключался весь состав «Доходного места». И спектакль не игрался на сце-

не, а материализовывался мыслеобраз Островского в виде пьесы. Зрители и артисты становились участниками одной потрясающей души медитации. Зрительный зал так высоко поднимался в этой медитации над материей, это был такой опыт духовного переживания, после которого зрители действительно менялись и чувствовали и понимали, что потом уже не смогут жить и видеть мир по-старому.

Но в жизни Андрею Миронову такое тонкое устройство обходилось очень дорого. Ведь он этого не знал: все происходило бессознательно, и после «похода» в «тонкий мир» канал надо было закрывать или продолжать жить на таком же высоком уровне. Это было невозможно: артист выходил из театра, попадал в материю, вступал в бытовые отношения с людьми. Отношения были разные, часто сложные, грубые. Вот тут-то на него сыпался весь мусор обыденности. Очищение от этого мусора требовало больших нервных и энергетических затрат. Поэтому он любил душ (вода все смывает), символически говорил, что создает препятствия, чтобы преодолевать их, и рюмка спиртного помогала мягко приземлиться без особенных ударов и ушибов. И музыка, без которой он не мог жить, была продолжением его внутреннего состояния, витаминизировала кровь, залечивала раны. Орфей, есть легенда, шел по лесу и играл на арфе. Все животные сле-

довали за ним и даже деревья вырывались с корнями, не могли устоять перед его чарующим искусством.

На белом мраморном подоконнике в моей комнате на Арбате лежала пьеса «Доходное место». Стоял февраль. «Достать чернил и плакать» чернильными слезами. Я сидела у окна, смотрела сквозь стекло и вертела мозгами: как мне поталантливее сыграть Юленьку? Ну как? Магистр часто репетировал нашу двойную сцену с Белогубовым. Говорил он стальным голосом, без интонаций, просил наполнять его жесткий и четкий рисунок. За окном налетела метель, и я думала, что окно, в которое я смотрю, является границей между мной и временем года, а граница – это что-то тревожащее. Странное ощущение испытывала я на репетициях Магистра – ему хотелось подчиняться. Казалось, если я не сыграю свою роль и упаду в его глазах, жизнь моя будет кончена. Режиссер обладал сильным качеством гипнотизера, и через десять минут после начала репетиции мы незаметно попадали в мир действия пьесы – менялись голос, манера речи, движения. Бессознательно у меня появлялось желание вцепиться в моего партнера – Пороховщикова – и требовать: «Да женись ты на мне, в конце концов, долго мне с тобой тут чикаться?» Хотя в роли Островский ограничил меня текстом: «Любите, а медлите».

– Кофточку, кофточку побольше расстегните... пуговичку... Татьяна Николаевна! Вот так. И плечико... плечико оголите... – Как будто сквозь вату я слышала приказания Магистра.

Иссякнув в работе над ролью, я опять бессмысленно смотрела в окно, опершись рукой на мраморный подоконник. На улице кружила метель, и тема пуговички и плечика расплзлась по оконному стеклу от налетавшего шквала мокрого снега.

Глава 13. Брат Кирилл

Путешествие из Петербурга в Москву! Ах, как заманчиво! Только теперь он – Северная Пальмира, тьфу, Ленинград. Но все равно – заманчиво. Встряхнуться, уехать в другой город, какое-нибудь приключение. Московский вокзал. «Стрела», почти все знакомые, приветствия, чмокания, обещания позвонить... поезд трогается!

Брат Кирилл Ласкари едет в Москву на премьеру «Дон Жуана». Сын от первого брака Менакера с Ириной Ласкари. Фамилия-то какая! С ума сойти от красоты. Конец февраля, а погода мартовская. Москва!

– Таня, приехал брат Кирилл из Ленинграда. На три дня. Сегодня мы втроем обедаем в Доме актера. Через час за тобой заедем. Не мажься сильно, – проговорил Андрей и положил трубку.

Я на подъеме, быстро делаю «глазастый свежий вид», по пути рисую образ брата – коренастый, кривоногий с мускулами, типа Лиепы. Надеваю серое пальто, длинный черный шарф, шапку вязаную на глаза, спускаюсь с лестницы, встаю на цыпочки и заглядываю в окно: стоит ли машина? Стоит. И там Андрюша. Рвануло сердце так, что мне пришлось остановиться и начать глубоко дышать... дышать... дышать... им,

его тембром голоса, его страшной боязнью перед жизнью и в то же время почти наглой попыткой уверенности в себе.

– Я уже знаю, вы Кирочка! – протянула руку в перчатке.

Первая мысль – красивый! И совсем не Лиёпа, а Витязь в тигровой шкуре. Красивые миндалевидные глаза с большими ресницами. Он сидел на заднем сиденье, я села на переднее к Андрюше. Они заговорили совершенно одинаковыми голосами. Мне казалось, что у меня двоится в ушах. Я в изумлении вертела головой то на Андрея, то на Кирилла. Когда мы вышли из машины, я заметила, что Витязь небольшого роста и очень изящный. Обедали вкусно, и настроение было на подъеме. Кирилл был старше Андрея на пять лет, и иногда у него проскакивали нотки свысока, нет-нет да и кольнет его в бок. Но под слоем харчо, печеночки и веселья ощущалась эмоциональная изнанка: в бессознательное соперничество двух братьев втягивали меня. Ах, два брата, два брата! Вечно у них каино-авелевская канитель. Вечером решили гулять и ехать к Умнову. Умнов – фотокорреспондент Большого театра – был старше нас, жил один в трехкомнатной большой квартире, любил гостей, щедро их угощал, гости любили его, к нему ехали запросто балерины, артисты, художники, ехали все на водку по-умновски – вод-

ку с апельсиновым соком. То ли приближение весны, то ли одурманивающая гулкость улиц, ветки мимозы – мы были в романтическом настроении. Выпили водки, и Андрей стал читать: «Февраль. Достать чернил и плакать! Писать о феврале навзрыд...» Потом, глядя на меня: «Не плачь, не морщь опухших губ, не собирай их в складки, разбередишь присохший струп весенней лихорадки... Сними ладонь с моей груди, мы провода под током, друг к другу вновь, того гляди, нас бросит ненароком...» Я языком нащупывала на верхней губе маленькую засохшую лихорадку – проверяла, мне ли эти стихи предназначаются или просто так? Нет, лихорадка на месте – не просто так. Мне. Кирилл уж очень явно стал за мной ухаживать и, как Менакер, твердил: «Какие у нее глазки!»

Я выскочила на середину комнаты, с низкого столика смахнула рюмку.

– Ничего-ничего, – собирая осколки, приговаривал Умнов.

– Ой, как слон в керосиновой лавке! За это сейчас прочту стихотворение. Сочинила сама. – Подняла правую руку к лицу и стала вертеть ей, помогая «философствовать». – Вы понимаете, у меня последнее время наваждение какое-то... «Наваждение»! Так называются стихи. Вы меня слушаете?

– Конечно, Сафо! Читай!

И они с братом, иронично глядя в мои круглые глаза, отвалились на спинку дивана.

Витают души за окном,
Из снега показался Гном.
Качнулась белка на сосне,
И счастье снилось мне во сне...

Витали души за окном...
И ни души! Ни этот Гном,
Ни эта белка на сосне,
И счастье только лишь во сне.

И снег! И белка за окном!
И снова показался Гном!
И счастье, и опять сосна.
Витают души! Я без сна!

– Это вальс! – сказал Андрей. – Как это у тебя? – Подошел ко мне и, повторяя: – Качнулась белка на сосне. И счастье снилось мне во сне, – начал со мной вальсировать. – Ви-та-ют ду-ши за ок-ном! И с Гномихой танцует Гном! Это вальс, и это прекрасно! Напиши таких штук тридцать, и мы устроим вечер вальса. Вальс, вальс, вальс...

– Одна барышня, – начала я под умновскую водку, – собиралась на свой первый бал... «Бабушка, что мне делать? Как мне себя вести, если меня кавалер

пригласит на вальс? Что я должна говорить?» Бабушка отвечает: «Как положено светским людям, сначала поговори о погоде, потом о музыке... и в конце – что-нибудь остренькое!» Наступил бал. Барышню пригласил кавалер. На вальс. Она улыбается и говорит: «Какая чудная погода. Училась музыке три года. Бритва!»

Умнов даже поперхнулся дымом от сигареты. Глотнули «умновской», Андрей взял меня за руку и деловито повел в другую комнату. Подвел к окну и закрутил нас в плотную зеленую занавеску. В такой мизансцене мы еще не целовались...

– Ой, у меня лихорадка! – пискнула я.

Тут же влетел Кирилл, раскрутил нас:

– Ты уже закручивался с ней, теперь я закручусь.

Меня удивило, что Андрей его не остановил. «Мое! – сказал Евгений грозно» тоже не прозвучало.

Я выскользнула от них и побежала к Умнову в другую комнату. Все притязания Кирилла я превращала в шутку и дуракавалянье.

Вечером, напившись умновской водки, мы подъехали к моему подъезду.

– Выходи за меня замуж! Я тебя люблю! – это сказал сидящий сзади Кирилл.

Образовалась пауза. Я посмотрела на Андрея.

– Очень милая будет парочка! – сказал он, веселясь. – Карандаш и Карандашиха! Дети у вас тоже бу-

дут карандашата?

Таким образом, посредством известного клоуна Карандаша, который отличался маленьким ростом, брат врезал брату кулаком в морду.

– Да, да! Карандашата! – воскликнула я с повышенной экзальтацией, чтобы обезвредить злую шутку и добавить к росту Кирочки сантиметров двадцать.

– Завтра я вас приглашаю обедать в «Метрополь», – ответил на удар Кирилл.

А Андрей продолжал:

– Как говорил дед Семен: «Все погодать и жьить миллионером!»! Танечка, ты знаешь, когда я собирался выйти на свет Божий, вся еврейская семья во главе с дедом Семеном вопила: «Это будет ужжье не гебеннок!» Ты видишь, как меня ждали в этой жизни?

Три дня мы втроем колесили по Москве или по лезвию бритвы. Эта рискованность завораживала нас всех. Кирилл выскакивал из машины, покупал мне фиалки и очень напористо, с интервалом в час, приглашал замуж.

– Зачем он тебе нужен? – кивал он на Андрея. – Он же бабник! Маменькин сынок, он тебе всю жизнь испортит!

После таких пассажей мы дружно смеялись – так разряжалась общая нервозность.

– Ленинград – прекрасный город! Родим детей... Я

тебя устрою в Театр комедии, будешь играть у Акимова, а не у вашего прыща. Я хорошо зарабатываю! И ты будешь обеспечена! Потом, я – добрый, а он – жадный.

И опять смеемся взахлеб.

У меня ощущение, что я проиграла сцену с Белогубовым из «Доходного места». Мысленно вопию к Елене Семеновне: «Где ты, «Заратустра»?» В душу вкрадывается искушение «сделать выстрел» если уж не во французской опере, так хотя бы в Кировском театре оперы и балета в Ленинграде! Смотрю на растерянный профиль Андрея – он из последних сил пытается придать лицу бесстрастность, и мне хочется рыдать от любви к нему и еще непонятно отчего.

Кирилл уехал. Мы проводили его на «Красную стрелу». Молча ехали с Андреем на Арбат. Прощаясь, он зло и сосредоточенно посмотрел на мои ноги и сказал:

– Ножульки тоненькие – ничего не стоит перебить.

Приближалось 8 Марта – гинекологический праздник и день рождения Андрея. Я заранее купила платье в комиссионном магазине – серое джерси, воротник-стойка, с темно-синим кожаным поясом. Но приглашения не было. Я доходила до исступления, чтобы понять: что я сделала? Почему? Что случилось? Оскорбленная насмерть, 7 марта я подошла к театру

– вечером играла спектакль. И вдруг я увидела Червяка. Он стоял на обочине тротуара, прислонившись к дереву. Мы были несказанно рады друг другу – обнялись, поцеловались, и я с надеждой посмотрела в его глаза.

– Завтра день рождения... он меня не пригласил... я ничего не понимаю...

– А что тут понимать? – начал говорить, психуя, Червяк. – Он бежит от себя, от любви... он боится... у него уже был опыт, и он до смерти напуган. Что ты хочешь? Он созрел как артист, но не созрел как мужчина. У него вся жизнь – театр. И репетиции. Он даже любовь репетирует. И еще... он обязан оправдать надежды мамы. О! Ваши артистки! Приносят ему грудных детей в гримерную и говорят: смотри, Андрюшенька, это твой ребеночек! Он психует и всего боится – артисток, мамы, любви, детей, алиментов. А ты тоже боишься – мамы, детей, любви, алиментов? Я – нет! Я мечтаю об этом! Особенно об алиментах! Принимай его таким, какой он есть. И терпи.

Мы опять чмокнулись, и я пошла в театр. На следующий день в 10 утра звонок:

– Аллё, Танечка, поздравляю тебя с праздником, с Женским днем. Ты сегодня придешь? – спросил он как ни в чем не бывало.

– Куда? – спросила я удивленно.

– Мне сегодня уже 26 лет! На Волков, куда же?

– Во сколько?

– Приходи пораньше... Ну, как хочешь... часов в шесть.

– Спасибо.

– Спасибо – «да» или спасибо – «нет»?

– Спасибо – «да»!

Влетела в комнату, скинула с себя напыщенную строгость и, как всегда, запела во все горло:

– Птица счастья завтрашнего дня прилетела, крыльями звеня, выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня.

И побежала в магазин. Обегала все булочные в центре, все кондитерские, купила тридцать маленьких жестяных коробочек с леденцами, раньше они назывались монпансье. Купила красное пластиковое ведерко, высыпала туда леденцы. На открытке с аютиными глазками написала: «Столько поцелуев вам, месье, сколько в сем ведерке – монпансье». Надела серое платье со стоечкой, сзади завязала синий шелковый бант под цвет пояса и побежала с ведром конфет на день рождения. На Волковом уже толпился народ. Я вручила имениннику свой подарок. Он улыбался, и все стали хватать горстями это монпансье. Оно сыпалось на пол, под стол, под кровать, во все углы. Андрей схватился за веник, стал подметать. Я осмот-

релась. Стол – а-ля фуршет, все болтаются по квартире с бокалами, на стуле у стены сидит балерина Ксения Рябинкина, сестра известной тогда Елены Рябинкиной. Я смотрела на ее лебединую шею, красивую гладкую головку, на прямой пробор с низким пучком на шее. Она была красива, все время молчала и сидела как статуя. Звонок в дверь. Все встали: «Здравствуй-те, здравствуйте, Мария Владимировна, Александр Семенович! Поздравляем... и вас поздравляем... и с Женским днем!» Они расположились в области накрытого стола. Мама осмотрела все цепким взглядом ревизора, из вежливости выпила рюмочку, закусила, потом резко встала и, недовольная, пошла на кухню, чем внесла дискомфорт в уже начинающее расслабляться общество. Я тихо встала, пошла за ней, может быть, чем-то помочь? На кухне она, как тапир, стояла, упершись животом в раковину, и остервенело терла мочалкой по серебру маленькой солонки: серебро чуть позеленело.

– Мария Владимировна, давайте я почищу, – бодренько произнесла я.

Она бросила в меня кипящий взгляд и продолжала тереть солонку, говоря мне всем своим мощным видом: «Валяешься тут с моим сыном! Могла бы в перерыве помыть и почистить все, все! Вылизать!»

Мне хотелось смеяться и плакать! Смеяться оттого,

что солонка вот-вот рассыплется от ее темперамента... А плакать... Господи, ну почему же она меня так ненавидит? Она пульнула в меня своим конфликтным гормоном, как из брандспойта, насыпала соль в солонку, вернулась в комнату и со стуком поставила ее на стол. Стук солонки просигнализировал сыну, который с детства научился принимать вибрации мамы: «Красный свет на эту, с синим бантом!» Она седьмым чувством понимала, что эта, «с синим бантом», имеет власть над ее собственным детищем! Собственным в смысле собственности.

Дурак этот, сволочь, влюбился и может ее, собственную мать, отодвинуть на второе место и выйти из-под контроля! Измена! – все это прокрутила в голове мама, включила обаяние, как включают электричество, дала понять, что она – директор жизни всех присутствующих, встала, подняла Менакера, и они... ушли. Все с облегчением вздохнули. Андрей оживился – он был такой красивый: в серо-голубом пуловере и в белой рубашке без галстука, в серых брюках.

– Жизнь коротка, а водки много! – Он поднял рюмку. Все скорей стали наливать. – Побольше мучного и поменьше двигаться! Особенно это касается балерин Большого театра!

И, качаясь, плавно подъехал к Рябинкиной. За руку поднял ее со стула, и они стали танцевать. Именинник

прижимал ее все ближе, обнимал все крепче, шептал ей в ухо, целовал ручки. Я делала безразличный вид, хотя в горле шевелились булыжники. Но глаза! Глаза выдавали все, они были такие несчастные!

– За что пьем? – вопрошал Андрей.

– За Шопенгауэра! Он проповедовал теорию четвероженства и сожалел, что в этом плохо только одно: четыре тещи! Завещал свое состояние собакам! – не без ехидства сказала я.

Музыку включили еще громче, чтобы балдеть, и никто не заметил, как я оделась и ушла. Поднималась вверх к Садовому кольцу и думала: «Вот тебе и птица счастья завтрашнего дня прилетела, крыльями звеня». Во мне бушевал гнев: почему всегда все надо делать на глазах у всех. Хамство! «Воспитание, родители, традиции!»! Хам!

Можно было, если уж так невтерпеж, подождать до завтра, пригласить к себе эту статую домой и слюнявить ей уши. А ему надо обязательно задеть меня и оскорбить! Злой! Прошел троллейбус. «Блядь!» – сказала я ему в сердцах вдогонку, сорвала с хвоста синий шелковый бант и бросила в сумку.

Глава 14. Я «Выхожу замуж» назло

Почти каждый день звонил Кирилл. Однажды вечером после спектакля явился Виктор. Мы пошли в ванную. Вся квартира уже спала. Я сидела с пьесой «Доходное место», каждую ночь зубрила текст в этой ванной. Мы проходили с ним мою сцену с Белогубовым, и вдруг я упала на его колени и заплакала. Он меня гладил по голове и говорил: ничего, ничего, все обойдется. А как обойдется? «Помоги мне, я его люблю, что мне делать?» И опять рыдала. Он успокаивал, вытирал мне слезы и говорил: «Давай пройдем еще эту сцену». «Господи, какую сцену, – думала я. – С Белогубовым?» Все перемешалось!

Пепита доказывала мне пользу теории вероятности.

«Если мы не будем никуда ходить – вероятности кого-нибудь встретить и трудоустроиться не будет!» Трудоустроиться в те годы означало – выйти замуж. «Танюль, мы же должны сделать «выстрел во французской опере»! И мы таскались по гостям, искали себе предмет для трудоустройства, и в один прекрасный весенний вечер мы оказались в квартире известного (мы хотели только известных!) театрального художника на улице Немировича-Данченко. Нам были

рады. В большом глубоком кожаном кресле, перевесив ноги через подлокотник, сидела обольстительная блондинка с большими голубыми глазами. Антурия. Она была дочерью знаменитой певицы, актриса, и у нее был роман с самым экстравагантным художником в Москве. Настроение было текучее – пили шампанское, философствовали, сплетничали, и один из «доброжелателей» заметил: «Андрей Миронов час назад поднялся в квартиру Энгельса. (Энгельс жил на три этажа выше.) С Ксенией Рябинкиной».

Спокойно усвоив информацию, я спросила:

– Кто мне может одолжить денег на три дня?

Через пять минут у меня в руках оказалась приличная сумма.

– А теперь, кто еще не совсем подшофе... отвезите меня на Ленинградский вокзал... Пожалуйста! Я должна успеть на «Стрелу».

По дороге я успела заехать домой, взяла сумку, кинула туда какие-то вещи. «Оскорбление нанесено публично, мщение состоится на глазах у всех!» – решила я, и без пяти двенадцать ночи «Стрела» понесла меня в Ленинград. Утром нежданно-негаданно я явилась к своей кухне. Она жила в центре, на улице Радищева. Что-то наплела по поводу кинопроб на Ленфильме, мы выпили кофе, обсудили всех московских родственников, и она ушла на работу, оставив

мне ключи от квартиры. Я села к телефону, подумала, собралась с духом и набрала номер Кирилла.

– Алло! Таня, это ты? Как ты? Ничего? Ничего – это пустое место. Как ты себя чувствуешь?

– Как люди могут себя чувствовать в Ленинграде? Пью кофе.

– Таня! – закричал он. – Ты здесь?!!

– Здесь.

– Какой номер дома? Через пятнадцать минут выходи на улицу. Я лечу!

Через пятнадцать минут я стояла на совершенно пустой улице Радищева. Светило солнце. Подгоняемый ветром, мне навстречу посередине проезжей части летел Кирилл с букетом нарциссов. Мы обнялись и вдвоем полетели назад по улице Радищева, на Невский – и я увидела Адмиралтейский шпиль, как цель жизни, пролетели по Невскому мимо Пассажа, потом Мойка, и вылетели к «Астории». Перед нами с золотыми куполами, как живое существо, стоял – Исаакий. Ветер сдул нас в кафе «Астория». Мы вкусно позавтракали, и Кирилл сказал:

– Надо идти на Герцена, домой. Я хочу познакомить тебя с мамой и бабушкой.

Я зажала зубами нижнюю губу: я забыла об их существовании, и они совсем не вписывались в мой план. Боже мой, еще одна мама да в придачу с ба-

бушкой! Но делать нечего – пошли. Накупив в магазине всякой вкусной еды, мы поднялись в мансарду, где тридцать с лишним лет назад начинал свою жизнь Менакер.

– Мама, познакомься – это Таня!

От этой фразы у меня свело скулы.

– А это – бабушка Ида!

Бабушка сидела в кресле в углу, с пышной высокой седой головой, как с полотна Гейнсборо, с горбинкой на носу – персонаж из оперы. Мама – высокая, темно-волосая, молчаливая. Представляю, как они мне были «рады».

Я сразу стала разряжать обстановку:

– Бабушка, съешьте бутербродик с паштетиком... вкусненький... и кофе. Не пьете? Тогда чайку... ох, какие у вас красивые серьги... возьмите чашечку с блюдечком... я подержу... вот так. Ирина Владимировна, вам чаю или кофе? Я вам налью... Мы в «Астории» купили очень вкусные булочки... дышат... слышите? Попробуйте! У вас здесь так красиво в доме – необычная мансарда... Вы не возражаете, если я тоже выпью с вами чашечку кофе? Я в поезде совсем не спала... Кирочка, а ты? Очень красивый город... Тьфу! Пятно поставила... сколько вам сахару? Я сама все помою, все... не беспокойтесь. А вода как открывается?

– Мама, мы с Таней решили пожениться!

Бабушка была глуховата и переспросила:

– Что решили?

– Пожениться, бабушка! – закричал Кирилл.

– Когда? – спросила мама страшным голосом.

– Завтра! – ответил Кирилл тоном, не терпящим возражений.

– Я ухожу на работу! – вызывающе сказала мама и стала одеваться. Она работала в Кировском театре, но по возрасту уже не в роли балерины.

Стояло время детских каникул – в театрах игрались утренники. У меня было три свободных дня. «Ну что ж! Свадьба так свадьба! – думала я. – Стендаль в главе «О любви» считает, что браки назло очень удаются, потому что пустое место требует немедленного заполнения. И я заполню это место Кирочкой. Он мне очень нравится. Он совершает поступки! И перееду в Ленинград! И катитесь вы все со своими балеринами!»

Кирилл в горячке созывал гостей на завтра. Решили ничего не готовить, а купить все в гостинице «Европейская». А потом, после всех блицприготовлений, обнявшись, летали (дул штормовой ветер) по Питеру, глотали по рюмке коньяка: Кирилл показывал мне Эрмитаж, Дворцовую набережную, решетку Летнего сада, Медного всадника... Мы ничего не могли говорить: ветер затыкал нам рот, но мы изъяснялись жестами

и, казалось, были очень счастливы. Пронизанные насквозь мартовским ветром, мы долетели до улицы Радищева к дому моей кухни. Кирилл уговаривал не расставаться и вернуться на Герцена, но мне было страшно, страшно подумать, что я могу остаться ночевать у Кирочки в обществе бабушки и мамы. Итак, до завтра! До завтра! До свадьбы!

Был раздвинут большой стол. Пришли художники, артисты, режиссеры. Все курили под аперитивчик. Внимательно разглядывали меня, носившуюся из комнаты в кухню, из кухни в комнату. Наконец, всех пригласили сесть. Я нырнула в Кирочкину комнату, прицепила синий шелковый бант под синее платье, мазнула губы помадой и вышла к столу. Все мне напоминало сцены из дурдома. Бабушка Идочка еще пышнее взбила седые волосы, и с серьгами до плеч она, как персонаж из другого века, сидела в своем вольтеровском кресле и внимательно вглядывалась в происходящее. Мы – жених и невеста – во главе стола, на другом конце – мама. Она смотрит на меня, как милиционер на вора, который у нее на глазах совершает кражу. И как ей хочется меня «задержать»! У меня ощущение, что я прыгаю со скалы в пропасть. Но улыбаюсь, хотя трясутся все поджилки. Наконец кто-то встал:

– За молодых! Горько!

Все заорали – горько, горько, горько! И стали пить стаканами. Я тоже выпила много шампанского, стала говорить медленно, спотыкаться на словах, смеяться, и все мне стало нипочем!

– За молодых! Горько!

«Это за кого?» – думала я, медленно вставала и целовалась с Кирочкой. Бредус Фигинариус!

Первая и последняя брачная ночь прошла без эксцессов, мать в комнату не забежала. Обычно, говорят, мамы забегают в комнату молодых с бесконечными указаниями сыну и невестке. Обошлось. Мама рано сбежала в театр, чтобы меня не видеть, и мы пили кофе с бабушкой. Я ей понравилась: она мне подарила серьги. Я бы с удовольствием взяла ее в Москву – такая она была худенькая, смешная и беззащитная. Кирилл громко говорил бабушке, что я сегодня уезжаю, а как закончу сезон в театре, перееду сюда, в Питер, на Герцена, тогда бабушка наговорится со мной вдоволь, потому что я не говорю (артистка!), а кричу, и бабушка очень хорошо меня понимает. Вечером муж проводил меня на «Стрелу», и я поехала маршрутом Радищева – из Петербурга в Москву. Утром детский спектакль «Волшебные кольца Альманзора». Прямо с вокзала еду в театр. Приняла душ, загримировалась и в костюме принцессы Августы двинулась на сцену. Стою за кулисами.

– Где ты была?!! – разъяренным шепотом в ухо спросил меня Андрей и схватил за руки выше локтя так, что я чуть не закричала. Он уже знал, где я была.

Я повернулась к нему и отчетливо произнесла:

– В музее ядерного оружия рядом с водородной бомбой Сахарова стоит первая атомная бомба «Татьяна»! Уже тикает, слышишь? Беги в Большой театр, а то опоздаешь!

Глава 15. Коварство и любовь

На носу были две премьеры. Одновременно с репетициями «Доходного места» Чек репетировал пьесу Славина «Интервенция». В ней была занята почти вся труппа. Андрей играл роль французского солдата Селистена, а я – то беженку, то даму в ресторане. У нас была «холодная война» – мы не замечали друг друга. Одиннадцать часов утра – начало репетиции. Чек в зале. Проходится ладонью по лысине.

– Планов – громадье! – сказал и хихикнул. Дальше, как обычно, стихи Маяковского:

Это было,
было в Одессе.
«Приду в четыре», – сказала Мария.
Восемь.
Девять.
Десять.
Вот и вечер,
в ночную жуть
ушел от окон,
хмурый,
декабрь.
В дряхлую спину хохочут и ржут
канделябры.

– Итак, мы в Одессе, – говорит он. – Кабачок «Взятие Дарданелл». Женщины, идите на сцену! Артисты... Елизавета Абрамовна, где артисты?! Сейчас я вам буду ставить мизансцены в стиле Ренуара, Гогена, Моне!

Мы настороженно и с пиететом относились к именам, которыми он так легко жонглировал. И это придавало ему веса. Итак, Гоген, Ренуар, Моне! Мы все на сцене, а он – в зрительном зале. Начинается процесс. Творческий.

– Люся... иди... иди, иди, иди, иди... иди... иди... иди... иди... иди... иди... иди... иди... стой! А ты... как тебя зовут, я забыл? Тамара... Тамарочка... вправо... вправо... вправо... вправо, вправо, вправо, вправо... вправо, чуть левей! Так. Хорошо! Теперь Нина, Спартак, Кулик. Идем все назад, в глубину сцены – назад... назад... назад... назад... назад... назад... назад, назад, назад, назад, чуть вперед – стой! Какие вы все вялые. Я буду требовать от вас активности! Вы не активны. Вы должны приносить с собой багаж и во-о-о-още... Воо-о-о-още...

Хлопает в ладони – в смысле «внимание»! И продолжает:

– Сейчас нам Миронов Андрей покажет свой номер. Новый.

Опять хлопает в ладоши.

– Кабачок «Взятие Дарданелл». Женщины, на сцену! Мужчины, сядьте как в ресторане... Аккомпаниатор Москвина на сцене? Елизавета Абрамовна, почему у вас за кулисами такой бардак? Тихо! Андрей, начинай!

Андрей начинает. Вылетает как вихрь, вскакивает легко на возвышение на сцене – якобы эстрада, – в черном фраке, черном котелке с белой хризантемой в петлице и объявляет сам себя: Жюльен Папа!

Это одесский куплетист, загримированный под французского шансонье, грассирует, подтанцовывает, клацая подбитыми подковами на башмаках. Запел:

Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте,
Здравствуйте вам!

Мы на сцене не успели опомниться от этого «Здравствуйте вам», как он с наслаждением и с раскатом объявил следующий номер:

– Жюлье-е-е-ен Па-а-а-па! Лю-у-у-убо-овь не ка-а-ртошка!

Любовь – не картошка,
Не бросишь в окошко,
Она всех собою манит.

Но все же, о боже!
Мы лезем из кожи
И все мы кричим – вив л'амур!

Вынул из петлицы белую хризантему и бросил мне в руки. Это означало – хватит, подними забрало: я иду на тебя с белым флагом!

С этого блистательного куплетно-амурного зигзага, который он сделал в спектакле о революции, началось его новое амплуа, в котором он войдет во врата рая и ада популярности.

– Еще, еще, – просил Чек. Он всегда любил повторять сцены, которые ему нравились.

И Андрей пел, а мы все шалели от его пения. Потом, когда спектакль выйдет, чтобы увидеть Миронова в этой сцене, будет рваться вся Москва.

Дома на Петровке из угла в угол нервно ходил Менакер. Он был и режиссером-постановщиком, и идейно-музыкальным руководителем этого номера. Что-то наигрывал на рояле, что-то хватал из холодильника – нервничал.

Позвонил Андрей:

– Папа! Все в порядке. Я еду домой!

По интонации Менакер понял – дело выиграно – и трясущейся рукой закурил сигарету.

На улице Герцена, рядом с площадью Восстания в доме с мезонином жил художник, мой двоюродный брат, кузен. На известной выставке абстракционистов в Манеже в 1962 году Хрущев харкнул в его картину «Отец. 1918 год». Мой дядька, его отец, в восемнадцать лет ушел в революцию и стал красным командиром. Кузен спокойно стер носовым платком плевки кукурузника и на вопрос корреспондентов ответил: «Претензий к советской власти не имею. Весь мир во мне». В 1941 году в Ленинграде – ему было двадцать лет – он лежал в окопе на Волковом кладбище, возле могилы Блока, и отстреливал «мессершмитов». А теперь жил настоящей нищенской жизнью с женой и матерью, полькой Ядвигой Петровной Машиновской. Она была хоть и нищей, но иностранкой. Всегда ходила в потертых и старых нитяных перчатках, в соломенной шляпе. Стены мансарды были завешаны картинами, все свободное место заставлено рамами, на полках – старые самовары, утюги, ступки, гипсовые головки. В вазах – кисти. В этот покосившийся, убогий дом приезжали художники из Питера. Привозили таинственную запрещенную литературу, и она ночами перепечатывалась Ядвигой Петровной в нескольких экземплярах, один из которых предназначался мне. Это были и Агни Йога Рерихов, и послания Махатм, основы буддийского учения, трактаты о

Савонароле, уничтожившем почти все картины Боттичелли. Вся семья – мать, жена и художник – каждое утро и каждый вечер становились лицом в сторону востока, воздевали руки в небо и посылали всему человечеству земного шара: «Мир и благо! Мир и благо!»

Мой путь из театра домой по Садовому кольцу (если я шла пешком) вел меня к улице Герцена, и я часто вечером после спектакля заходила в дом с мезонином. Там я получала ответы на мучительные вопросы моей неустроенной внутренней жизни. «Препятствия есть рождение возможностей! Будьте благословенны препятствия – вами мы растем!» Ах, вот для чего даны препятствия, думала я, чтобы расти. «Путь начинается и каждый раз с нуля. Лишь в этом случае ты получаешь шанс коснуться истины, соединиться с нею. Дух абсолютный жаждет воплощения, а воплотившись, жаждет высоты. И этот путь Нисхода и Восхода преобразует звездные миры». Я освоила все йогические асаны, свободно стояла на голове, что, фигурально выражаясь, делала вся страна с 1917 года. Революсьон – в переводе с французского – перевертыш. Упражнения – рыба, змея, лягушка, лук – все было мне подвластно. Но неподвластны мне были мои чувства. Запутанные и горькие обстоятельства моей любви толкали меня на подвиг. Я решила взять реванш. Я штудировала ночами Гельвеция, Шопенгауэ-

ра, Ницше, всю философию золотого века, и самым моим близким другом и советчиком оказался Сенека! «Один день образованного человека дольше самого длинного века невежды», – говорил он мне в своих трактатах. «Природа нас обыскивает при входе и при выходе», «Жизнь надо прожить так, чтобы она брала не величиной, а весом», «Богаче всех тот, кого фортуне нечем одарить!», «Пьянство – добровольное безумие», «Тело – лишь избушка для души». Я читала, выписывала, учила наизусть, я знала – не бриллиантами, не тряпками, а именно этим оружием я могу одержать победу на фронте любви.

После отчаянной поездки в Ленинград мы созвонились с Умновым, и он после спектакля заехал за мной в театр. Он был другом, разбирался во всех оттенках наших молодых безумств и оказывался рядом в трудную минуту.

Я села в его машину, подскочил Андрей и как ни в чем не бывало спросил:

– Вы куда едете?

– В Дом актера, поужинать, – ответил Умнов.

– Я сейчас сажусь в машину, – засуетился Андрей, – едем за Ксенией Рябинкиной в Большой... и вместе... ужинать!

Нам нравилось ходить по краю бездны. Да наплевать, бездны, пропасти – главное, мы опять вместе.

Подъехали к служебному входу Большого театра, захватили Рябинкину и вчетвером отправились в ВТО ужинать. Как мы были все вежливы и милы! Сели за один столик с накрахмаленной белой скатертью. Андрей сел напротив меня, и началось! Шампанское, возбуждение, горящие глаза... Мы никому не давали говорить.

– Танечка, как ты в Ленинград съездила? – спросил он с нарочитой веселостью.

– Ты же знаешь, хорошо съездила!

– Что там хорошего?

Подошла официантка: «Вам рыбу или мясо?»

– Мне бифштекс с кровью, – сказала я.

– Я хочу попробовать устриц! – размечталась Рябинкина.

– Это только в Париже!

– Танечка, а ты не мечтаешь попробовать змей? – спросил Андрей.

– Я уже пробовала. Самые сладострастные в отделе позвоночных – это гады. Любовь змей, лягушек, жаб омерзительна по своей пылкости. Чем ниже животное по типу, тем любовная страстность в них сильнее. Особенно пылки устрицы! У них просто гипноз половой похоти – влюбленных можно жечь, но они не отпустят друг друга из объятий.

Дивная лекция под закуску. Вот и принесли биф-

штекс! Андрей взялся за нож с вилкой и спросил меня:

– Откуда ты это все знаешь? Даже страшно!

– Пока некоторые подражают устрицам или гадам, я читаю. Чи-та-ю. Понятно?

– Понятно! Ты все успеваешь.

– И среди людей наблюдаются те же градации, – продолжила я.

Андрей сделал очень серьезный вид и, заглатывая кусок мяса, произнес:

– Внимательно слушаем!

– Всех похотливее идиоты.

Поздно вечером разъезжались домой. На следующий день опять подъезжал Умнов, опять из театра выходил Андрей, опять мы все ехали за Рябинкиной, опять заказывали столик в ВТО и опять иносказательно объяснялись друг другу в любви. Этот «хоровод» продолжался две недели. Потом внезапно все прекратилось: исчезли Умнов и Рябинкина.

Сыграли премьеру «Интервенции» Славина. Жюльен Папá стал гвоздем программы. Приближались к концу репетиции «Доходного места». Каждый день утром и вечером мы репетировали до изнеможения. Выхожу из театра после репетиции в семь часов вечера. Небо своевольное. Ветер мотает тучи в разные стороны, блестит солнце. Спускаюсь по лестнице в своем бежевом пальто и решаю – пройдусь по Горько-

го, а там по Бульварному кольцу – домой. Надо подышать, потому что совершенно нет сил. Иду, поглощенная своими мыслями, повторяю машинально текст: «Ты себе не представляешь, Полина, как деньги и хорошая жизнь облагораживают человека!» – и думаю о словах Магистра, что «все настоящее дается с кровью» и еще... «Если вы не понимаете Джойса, то это ваша беда, а не его...» По асфальту рядом со мной ползет машина. Андрей. В открытое окно приглашает:

– Таня, садись, я тебя подвезу.

– Нет, спасибо! – отвечаю я, интонацией воздвигая между нами Китайскую стену. Поворачиваю за угол на улицу Горького, он за мной. Медленно ползет и в окно уговаривает:

– Да садись, я тебя подвезу, ей-богу, это глупо... Ты что, боишься?

Я – из-за воздвигнутой между нами стены – отвечаю:

– Я хочу идти пешком! Что мне тебя бояться!

Прохожу мимо Театра Станиславского, налетает черная туча, и из нее бухает дождь как из ведра. Машина уже с открытой дверью продолжает ползти рядом.

– Танечка, ты вся мокрая! Садись! Иначе я подумаю, что ты ко мне равнодушна. Какой ливень!

Простодушие и гордость (еще действительно поду-

мает!) схватили эту наживу, и я села. Молниеносно были закрыты все двери, окна, кнопки. С визгом шин мы без светофоров донеслись до Волкова переулка. Там под конвоем я была доставлена в квартиру. Он закрыл входную дверь и сказал:

– Я спрятал ключ! Не пытайся отсюда никуда выйти!

И, не обращая на меня никакого внимания, начал заниматься своими делами: включил воду, музыку, поставил чайник и замурлыкал: «Стренджерс ин зе найт... ляля-ляля-ляляляля-ля-ля-ля-а-а-а!»

Во мне кипела бешеная злость, но когда он подошел к шкафчику и достал оттуда чистое белье, пижаму – из шкафчика хлынул аромат нашей любви, наших встреч, и сердце сжалось от чувства быстротечности времени. Я вздохнула, достала из шкафчика полосатую пижаму и пошла в ванную. Он постелил чистое белье и, молча, стоя у своего магнитофона, отхлебывал чай. Я прошла мимо, бросив: «Если б я была Цирцеей, ты бы сейчас захрюкал!» Налила себе чай, выпила его на кухне, под музыку Баха в исполнении оркестра под управлением Джеймса Ласта, и пошла спать. Легла в постель. Он немедленно выключил музыку и нырнул в кровать. Ситуация становилась взрывоопасной. Но я была уверена, что «досплю» до утра, а там все равно надо на репетицию. Отодвинулась на край кровати, чтобы его не

касаться. Упаси Боже, такую сволочь! Тьма. Тишина. Ночь. Лежу, закрыв глаза, не дышу. И он не дышит. И вдруг со всего размаха его здоровой руки получаю звонкую оплеуху. Ухо начинает распухать, щека горит. Молчание. Тишина. Проходит несколько минут, он теряет бдительность, и я со всего плеча врезаю ему своей крепкой ладонью. Началась потасовка двух сумасшедших в одинаковых полосатых пижамах. Потом я заплакала. Обнялись. Его слезы текли по моему носу и губам. Поцеловались. Засмеялись, и апрельская ночь унесла нас в сады Эроса.

– Я без тебя ничего не могу – ни жить, ни играть, ни репетировать... ты мне нужна... ты приносишь счастье... я даже трахнуть никого не могу, если мы с тобой в ссоре...

«Трахнуть» – это жаргон. Так говорили все, и это была знаковая система времени, которая отражала суть происходящего. Как далеко мы ушли в обратную сторону от библейских мужчины и женщины. «Авраам познал Сару». Они познавали друг друга. Любовь была актом творчества и познания. А наше поколение – трахало! Трахнуть – значит ударить, убить.

Зажгли свечу, и Андрюша, как профессор, объяснил мне, что свечи обязательно, обязательно, когда ставишь в подсвечник, надо обжигать. А утром, как зарезанный, кричал из ванной:

– Танечка, я же тебе говорил, пасту надо выдавливать из тубика снизу... аккуратно... когда ты это запомнишь, мальчик из Уржума?

Он имел в виду книгу о Кирове, которую все наше поколение знало наизусть. Мальчик из Уржума немножко обижался, так как ему давали понять, что он не из той оперы: и свечи не знает как обжигать, и пасту не так выдавливает, но синьковые глаза, наша общая ребячливость и смешливость не давали задерживаться на этой глупой станции «Обида», и я пулей летела в магазин «Продукты», чтобы купить литр обожаемого им молочного коктейля, который на глазах взбивался миксером в огромных алюминиевых емкостях. Мы мчались на репетицию.

Глава 16. «Доходное место» – триумф магистра

Магистр был для нас загадкой. Он жил в Замоскворечье с женой и дочкой, говорили, что жил еще хуже, чем мы все – обитатели коммунальных квартир. Лицо его никому ни о чем не говорило – оно было бесстрастным. Когда репетировали не мою сцену, я сидела в зале и мысленно примеряла ему головные уборы – одно из самых моих любимых занятий. Итак, фетровая шляпа! Скинуть – кошмар! Каракулевый «пирожок» – бездарно, не его! Феска с кисточкой – не его, но теплее. Треуголка? Нет. Берет и портфель в руки. Не то, не то! Шапка Мономаха? Нет, это больше моему Андрюшке подойдет и... кафтан парчовый, отороченный соболями. Прикидываю дальше – Англия! Цилиндр, тросточка и тонкие пальцы, как с полотна Ван Эйка. Да! Сэр Фрэнсис Бэкон! Вообще-то... сни-и-и-маем цилиндр и надеваем лавровый венок и белую тогу. Получилось.

На сцене Жадов бранится с Кукушкиной, Юсов пляшет под дудку Белогубова, а я, примерив головные уборы Магистру, нежусь в воспоминаниях о проведенной ночи. Как хорошо, когда у нас все хорошо. И я, прикрыв веки, раскачиваюсь под поющую во мне му-

зыку Баха. Какая красивая была ночь! Какая будет ночь тридцать два года спустя!

Пятое июля... день нашей встречи на сцене Театра оперы и балета в Риге, день нашего духовного потрясения. Я в своем поместье в глубинке России. 11 лет, как Андрюша ушел из жизни. 11 часов вечера. Включаю музыку. Оркестр и хор под управлением Джеймса Ласта. Прелюдия Баха. Вокруг – ни души. Наливаю рюмку водки, настоянной на полыни, в ночной рубашке, босиком выхожу на крыльцо. Музыка набирает силу, все громче и громче... Еще не темно – небо бледное, сумеречное, передо мной уходящая вдаль полоса леса. Узорами торчат макушки елок. Клочками перед лесом висит туман. Туман ползет на меня по полю, по земле, стелется у подножия леса и вдруг быстро поднимается вверх. Божественная музыка с божественными голосами льется с веранды. Смотрю на небо – там бледная, еще неполная луна, мимо нее проплывают волнистые, тонкие, дымчатые облака. Вдруг они собрались в раскрытую гармошку и подплыли к луне, и... получилось... жабо! Это Пьеро! Лысый, грустный Пьеро в жабо с открытым ротиком поет вместе с оркестром Баха. Я улыбнулась, промокнула глаза воротничком ситцевой рубашки, выпила полынную водку – за Андрюшу, за Пьеро, за день нашей

встречи. Люблю тебя, и нет слов на земле высказать. Скажу там, когда увидимся... и босиком поднялась по лестнице на мансарду – спать!

Магистр объявил перерыв. Весь май в такие перерывы мы садились в машину, покупали по дороге кефир с зеленым колпачком, творожные сырки в шоколаде, хлеб и сладкую сырковую массу – это все, что любил знаменитый артист. Ехали быстро по Минскому шоссе до знака «Барвиха». Налево в соснах ставили машину, переходили трассу. Перед нами стоял одноэтажный каменный придорожный магазин, справа, тропинкой обходили его, а там обрыв! Внизу извилистая широкая Москва-река, кусты шиповника, сирени – «Кругом шиповник алый цвет, стояла темных лип аллея!» – и скамейка, серая старая доска на двух столбах. Садилась на эту скамейку, и перед нами открывалась необозримая даль лугов и полей. Пили кефир, ели сырки и молча смотрели в завораживающую перспективу. Через два часа молчания на скамейке в Барвихе мы возвращались в театр.

Наконец, генеральный прогон – сдача спектакля Чеку. Со зрителями.

Стремительно открывается занавес. Сцена устроена с крутящимся внутренним кругом и кольцом, которое вертится в обратную сторону. После первой сце-

ны нервный крик Вышневецкой (Веры Васильевой):

– Аристарх Владимирович, вам одеваться пора! –
И еще пронзительнее: – Одеваться Аристарху Влади-
мировичу!

Крик такой больной, на такой высокой ноте, что, ка-
жется, пронзает купол театра. Сразу возникает чув-
ство тревоги. Это начало спектакля! Менглет – Выш-
невский, Папанов – Юсов. Это такие мощные типы,
напоминающие фигуры с острова Пасхи, типы, кото-
рых не увидишь ни в американском триллере, ни в Го-
сударственной думе. Под ноющий звук шарманки по-
является Жадов. Детская открытость с неистощимой,
какой-то даже глупой русской надеждой в прекрасное
будущее и свое, и всех, всех и вся! Кукушкина – до-
морощенная бандерша, кухарка по психологии, кото-
рая потом будет управлять государством. Две дочери
– Полина и Юленька. Полина – глупа, Юленька – алч-
на, продажна, порочна... Островский не приукрасил
Россию: все женщины – продажны, мужчины – воры,
подлецы, взяточники. Их дети и внуки погубят Россию
и на новой ниве начнут грабить и брать такие взят-
ки, размер которых и не снился их дедам и прадедам.
Нет, нет, скорей искать Моисея, чтобы взял за уши и
таскал по пустыне сорок лет.

Среди этой страшной камарильи тяжелобольных
людей – один – Василий Жадов. Он хочет работать,

получать за это деньги и жениться по любви. Он хочет быть честным! Первые слова Жадова:

– Что дядюшка, занят? Ах, жалко! А мне нужно очень его видеть.

Вибрации голоса Андрея, его тембр обладали свойством попадать в точку счастья, которая располагается в отделе головного мозга. И с первых звуков его голоса мысль расстаться с ним была невозможна. Зрители, как при приеме наркотиков, чувствовали себя счастливыми, в отличие от проклятой жизни, которую они оставляли за дверями театра. Во время работы над спектаклем Магистр и Андрей не расставались. Они такие разные. Внешне баловень судьбы – Андрей, с сильными, знаменитыми родителями, про него можно было даже сказать, что он родился не в рубашке, а в котиковой шубке. Бутафория, которая окружала его, – квартира, рояль, библиотека, коллекция фарфора, гравюры, музейные люстры... Имена, которыми он щеголял, – Утесов, Арбузов, Райкин, Уланова, Шостакович, Григорович – все, все это нам представлялось как незнакомый предмет, который надо было выучить! Магистру хотелось бывать с ним, в его доме, понять механизм незнакомой для него жизни и во что бы то ни стало выйти на новый социальный виток. Магистра притягивала в Андрее его свобода, культура, удивляла природа. С глазами цвета

синьки, с накрахмаленной уверенностью в жизни, он расцветал в атмосфере любви и умирал от недоброжелательного взгляда, жеста!

На сцене между ними установилась странная связь. Андрей, как медиум, принимал сигналы Магистра, трансформировал их и уже в обогащенной, свойственной его индивидуальности форме возвращал этот сигнал обратно. Магистр улавливал эту новую форму и направлял ее на сцену. Так создавались роль и спектакль.

Андрею не хватало для совершенствования волевого начала. Воля мамы оборачивалась всегда насильем над его природой, а воля Магистра – преображала ее. Рядом с Магистром Андрей впадал во вдохновение, как впадают в транс, и на сцене происходил сеанс медитации.

В прошлом воплощении Магистр был гроссмейстером духовно-рыцарского ордена. За одну ошибку, привязанность к власти, он опять был ввергнут в материю и родился в условиях Страны Советов на улице Заморенова, в коммунальной квартире. Вместе с бессознательной памятью прошлой жизни он принес с собой на Землю магический кристалл. Этот кристалл не обладал материей, он был невидимым, но всегда находился в поле досягаемости или в кармане Магистра. В детстве он иногда материализовывался в кусочек

разбитого зеркала, которым он с мальчишками из окна отражал лучи солнца, выжигая у сидящих во дворе бабушек дырки на платье. Перед началом спектакля Магистр входит в каждую гримерную – протягивает артистам невидимые нити вожжей. С помощью невидимых вожжей он будет управлять всеми на сцене...

– Егорова, Егорова... скоро ваш выход.

Я очнулась от видения и бросилась на сцену. А там – горничная Стеша, нагнув голову вниз, задом к зрительному залу остервенело моет пол. «А уж надо мной-то как измывается, одной только чистотой одолела!» И дальше: «Твою... так... вона... мать... к чертям собачьим!» Аплодисменты – зал подключился. «Да разве может человек прожить на одну зарплату?» – со сцены гаркает Кукушкина. Аплодисменты. Конец первого акта – потерявшая тормоз карусель! Крутится круг, в обратную сторону, крутится кольцо, вертятся столы, шкафы, графины, рюмки, люди... Вертится духовой оркестр, раздутые щеки трубачей... вертится Юсов в танце перед Белогубовым. Взрыв аплодисментов.

Второй акт – насилие над душой Жадова. Натиск темных. Юленька вся в розовом, как беже: розовая шляпка, розовые ленты, розовые оборки, ярусы, кружева: «Ты себе не представляешь, Полина, как деньги и хорошая жизнь облагораживают человека». Кукуш-

кина: «А вот погоди, мы на него насядем обе, так авось поддастся. Да гордость-то, гордость-то ему сшибить надо!» И сшибают. Ради любви к Полине Жадов идет просить у дяди доходного места.

Танцуя на крышке гроба своих идеалов, он истерически кричит: «Бери, большой тут нет науки, бери что можно только взять. На что ж привешаны нам руки, как не на то, чтоб брать, брать, брать». Жадов идет по авансцене просить у дяди доходного места – у него градом падают слезы. Но драматург верил в силы света и остановил героя на самом краю пропасти. Карусель продолжает крутиться, но на ней нет декораций, она совершенно пуста. Бутафория жизни исчезла. За кулисами – смерть. За кулисами крик – с Аристархом Владимировичем удар! В этот момент Жадов стремительно выходит из центра бархатного черного задника, как из тьмы: «Я могу поколебаться, но преступления не сделаю. Я могу споткнуться, но не упасть! Если судьба приведет есть один черный хлеб – буду есть один черный хлеб! Никакие блага не соблазнят меня, нет! Я хочу сохранить за собой право глядеть всякому в глаза прямо, без стыда!»

Одновременно на сцене – торжество совести и торжество смерти, как будто режиссер поставил на театре старую русскую поговорку: «Всего на свете двое есть – смерть да совесть». Гром аплодисментов. Зал

так высоко поднимался в этой медитации над материей, это был такой опыт духовного переживания, после которого зрители действительно менялись, чувствовали и понимали, что уже не смогут жить и видеть мир по-старому.

Напротив Театра сатиры стояло здание театра «Современник». Между театрами – негласное соревнование, у кого больше зрителей. В «Современнике» мы с Андреем смотрели много спектаклей с Олегом Табаковым, и он постоянно долбил меня:

– Я не хуже артист, чем Табаков? Ну, скажи, скажи! – по-детски напрашивался он на комплимент.

– Ну конечно, лучше. Это и ежу ясно, – искренне говорила я. – Ты посмотри, у нас на «Доходном месте» впервые в истории театра – конная милиция! А у них – обыкновенная толпа.

Наконец спектакль сдали. Чек попросил всех артистов, не раздеваясь и не разгримировываясь, – в зал. Он был потрясен.

– Сегодня родился гениальный режиссер. Магистр, беги за шампанским.

В этот день мы долго не могли опомниться и до вечера ходили по этажам театра с бокалами и с бутылками шампанского. Мы с Инженю сидели в примерной, вспоминали поклоны в конце спектакля. Выходили кланяться на авансцену, держась за руки – в сере-

дине Жорик Менглет, слева я, Юленька, справа Инженю – Полина и дальше по цепочке остальные действующие лица. Момент поклонов – яркое эмоциональное переживание: в висках стучит, все вены заполнены пафосом от причастности к великому происходящему. Двигаясь в направлении авансцены, Жорик крепко сжимал наши с Инженю руки и на ослепительной улыбке, обращенной к зрителям, контрабандой читал нам стихи:

Девки, бляди, я – ваш дядя,
Вы – племянницы мои.
Приходите, девки, в баню
Парить яйца мои!

Пафос, сияющее тщеславие и гордость были побиты смехом. Едва сдерживая его, мы низко опускали головы в поклонах, дабы зрители не заметили на глазах слезы от душившего нас смеха.

Но вот – конец сезона и официальный банкет. Накануне вечером я сшила себе платье – темно-синее, с белым воротником и белыми пуговицами в два ряда. В репетиционном зале поставили столы буквой П и... сели. На банкет была приглашена жена Магистра. Все с нетерпением ждали ее – сверлило любопытство: какая она, как выглядит? Вошла. Стройная, в темно-зеленом платье с люрексом, прическа – ко-

роткие волосы с челкой, в черной соломенной шляпке с полями вверх – «маленькая мама». Из-под темной челки смотрели серо-голубые глаза – настороженный и неуравновешенный взгляд. Красиво очерченные губы.

Что делают артисты на банкете? Пьют! И мы пили. Танцуют! И мы танцевали. Папанов пошел танцевать русского, вприсядку, размахивал руками, рычал от переполнения чувств. Все были на эмоциональном подъеме. Подошел к нам с Андреем и сказал:

– Ну вот... спектакль сыграли – теперь и свадьбу сыграть можно. Такая пара! Вы и похожи друг на друга!

На рассвете небольшой кучкой поехали на Воробьевы горы. Гулять! Андрей все на меня как-то странно смотрел, и я думала: сейчас сделает мне предложение. «Выходи за меня замуж», – он говорил каждую неделю, на лету, и в этой фразе не было решения, как будто он репетировал текст. На Воробьевых горах мы встречали восход солнца, кричали, и, когда появились первые лучи, Магистр, ошалевший от успеха, вдруг достал из кармана деньги и поджег! Мы были в восторге от его жеста, это был сигнал. Мы достали свои пятерки и десятки и поднесли к ним спички. Выкатилось солнце, мы стояли с горящими в руках деньгами, на самом высоком месте Москвы, совершая древний

языческий обряд – полный отказ от материи во имя бога солнца Ярилы. Одновременно условно кремировали Ильича, портрет которого был изображен на десятирублевых красных банкнотах.

Но и этого было мало. На Волков, на Волков! Остановиться было невозможно, и мы поехали на Волков. Опять на столе бутылки шампанского, закуски, эротическая музыка... Обнимались – кто с кем, целовались, танцевали, впившись друг в друга телами...

– Таня, пойдем на балкон, мне надо тебе кое-что сказать, – выдернул меня из сгустка танцующих Андрей. «Наверное, сейчас предложение сделает», – подумала я, выходя на балкон. Я стояла перед ним и улыбалась от избытка счастья, успеха и молодости.

– Я тебя не люблю! – крикнул он.

Я не поняла.

– Я не люблю тебя! – и вбежал в комнату.

Репетиции «Доходного места» были закончены, а репетиции любви – продолжались.

Я как ошпаренная выскочила из квартиры. Было шесть утра. Побежала вверх к Садовому кольцу. Троллейбусы не ходили, такси не было. Даже если бы и были – ехать не на что, все деньги сожжены! Вышла на Садовое кольцо и пошла в сторону Арбата. Вернее, я не пошла, побежала. Бежала от обиды, от отчаяния, от жестоких слов. У меня из глаз ручьями текли

слезы, и я орала на всю Москву:

– А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Он меня не любит! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а!

«И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет». От отчаяния и шампанского меня качало из стороны в сторону. Не помню, как добралась домой, и в платье и туфлях навзничь бросилась на кровать. В час дня открыла глаза – надо мной стояла мама:

– Таня, ты идешь по дороге Эдит Пиаф! – сказала она строго и исчезла.

– Надо выпить чайку и все обсудить, – сказала я самой себе и заварила крепкого чаю.

Пила чай и думала: что произошло за год? Хорошее – сыграла в «Доходном месте», много читаю, не далась Чеку, научилась стоять на голове, не ем мяса... Андрюша. Плохое – вечно опаздываю, много плачу, все время говорю слово «блядь», курю, пью... Андрюша. Что делать? Он расшатывает и без того расшатанную мою нервную систему. Постучали в дверь – письмо. Из Ленинграда: «Оставьте в покое моего сына! Занимайтесь своими московскими делами! *Ирина Владимировна Ласкари*». Так мне и надо. Ничего... через три дня с группой артистов едем на месяц в Азербайджан обслуживать войска Советской армии, играть концерты. Пройдет время, и все прояснится. В сладкий чай капнула слеза... Стук в дверь – к теле-

фону!

– Аллё, это я...

– Кто?

– Я... Андрей. Как у тебя дела? Когда вы едете?

Счастливо тебе... ну, пока... веди себя прилично.

– Андрюша... когда ты едешь в Швецию?

– Я не еду. Пока. Целую. До встречи.

Схватило сердце. Подошла мама, спросила, что со мной?

– Сердце, – вызывающе ответила я.

– Девушка не должна курить!

– Я не девушка! Курить – здоровью вредить! Деньги в кассу – здоровье в массу! И не надо мне ничего советовать, мама!

Глава 17. В доме Энгельгардта на Новокузнецкой

В Замоскворечье, на Новокузнецкой улице, в доме Энгельгардта на четвертом этаже семнадцатилетняя советская патриотка играла на рояле чарльстон. Шел 1930 год.

Ручки пухленькие, сама полненькая, с выразительными бархатными глазами, она задиком в такт егозила на круглом вертящемся стульчике... нажала на педаль... вдруг бросила играть. Закатила глаза и томно вытянула шею вверх – головка с картины Брюллова. Сделала два аккорда и начала читать Апухтина: «Сумасшедший»:

«Садитесь, я вам рад. Откиньте всякий страх и можете держать себя свободно. Я разрешаю вам. Вы знаете, на днях я королем был избран всенародно... Ах, Маша, это ты? О, милая моя, родная, дорогая! Ну обними меня, как счастлив, как я рад!.. Как это началось?.. Да, васильки, васильки, много мелькало их в поле... Помнишь, до самой реки. Мы их собирали для Оли... Я ее на руки брал, в глазки смотрел голубые. Ножки ее целовал – бледные ножки худые... Все васильки, васильки...»

Она вздохнула, сделала круг на стульчике и опять

заиграла. Страстная натура жаждала любви и фантазий – Валентина, младшая дочь Александры Яковлевны и Ивана Александровича.

В начале XX века они поженились. Иван Александрович быстро сделал карьеру – стал начальником московского Павелецкого вокзала. Александра Яковлевна родила ему четырех девочек и двух мальчиков. Революция разрушила все. Национализированы деньги в банке, старший сын благочестивых и верующих родителей – красный командир в 19 лет! В десятикомнатную квартиру вламывается толпа пьяниц и хулиганов из рядов революционеров. Подселенцы. Младшая дочь, которая только что играла на рояле чарльстон и читала Апухтина, впилась в газету «Безбожник» и в розовой тунике с разрезами по бокам, с ленточкой на лбу, с подведенными глазами стала носиться по квартире босиком (она занималась у Айседоры Дункан), носилась, как пламя, размахивая газетой над головой, и радостно сообщала миру и глубоко верующей маме:

– Бога нет! Бога нет! Бога нет! «Долой, долой монахов, долой, долой попов, мы на небо залезем, разгоним всех богов!»

Мать ее, Александра Яковлевна, чтобы образумить безбожницу, решительно брала ружье, выходила на лестничную клетку и стреляла вверх! «Бога нет!» –

пли! «Бога нет!» – пли! «Бога нет. Бога нет. Бога нет!» – пли, пли, пли!

Отец, Иван Александрович, любил младшую дочь до обожания. Рано утром, когда она еще спала сладким девичьим сном, он тихонько подходил к ее кровати и любовался дивной мордашкой, потом, вздохнув, вкладывал в мило сложенный сонный кулачок бриллиантовую брошь. В следующий раз – кольцо с жемчугом, потом серьги и так всегда, пока не осталась пустой фамильная шкатулка с драгоценностями.

Валечка просыпалась, потягивала ручки и ножки, нежась, разжимала кулачок и удовлетворенно улыбалась:

– Сегодня побегу в «Торгсин» и что-нибудь куплю... эдакое!

«Эдаким» оказалось синее газовое платье. Стояло лето. Валечка разгуливала по Москве в виде синего пышного облака. На голове – чалма, сбоку накрученный из синего газа цветок. На груди висели часы на цепочке с надписью от отчаявшегося кавалера: «Пусть хоть что-нибудь да бьется, где не бьется ничего!» Вдруг налетал ветер, облако поднималось – все юбки вверх! Из-под юбок показывались полные белые ножки и сбитая попочка, одетая в голубые шелковые панталоны с голубыми кружевами. Из трамваев, автомобилей высовывались головы с изумленными

ми глазами, и проходящие сзади мужчины с вождедением и восторгом смотрели на эту живую картину. Она спрашивала поравнявшихся с ней товарищей мужского пола: «Голубое не мелькает? Нет?»

Что, мелькает или не мелькает? Голубое?! Ах! И опускала, нисколько не смущаясь, двумя ручками газовое облако вниз. Опять налетал ветер, и она лукаво улыбалась каждому встречному молодому человеку.

Летом в Калиновке на даче она была неизменной участницей спортивных пирамид. В сатиновых трусах до колена и в майках девушки Страны Советов, карабкаясь друг на друга, выстраивали пирамиду. А зимой в Сокольниках после занятий в институте (несмотря на декорационную взбалмошность, она поступила в институт) она со студентками любила кататься на лыжах, потом с красными щеками пить чай в буфете с крошками от наполеона: они стоили дешево и студенткам были по карману.

Синее газовое платье произвело впечатление на профессора истории. Он был вдовец, и она своей синей экстравагантностью волновала его мужское воображение. Валечку очень тянуло к античности. Ее комнатка была заполнена Венерами – Венера Милосская, Венера Книдская, Аполлон Бельведерский, изображение Амура и Психеи... В квартире у профессора на Тверском бульваре она то играла на рояле,

то пела, то танцевала чарльстон в шляпе с тросточкой, то голая носилась по квартире, подражая Айседоре Дункан. Жизнь казалась синей, легкой, воздушной, как газовое платье. Профессор целовал ее пухлый локоток и повторял: «...что я считаю жизнь от нашей первой встречи. Что милый образ твой мне каждый день милей». Решили пожениться. Однажды Валечка пухлым пальчиком нажала на кнопку звонка возле дверей профессора. Ждала, ждала, никто не открывал, она опять позвонила. Из соседней квартиры слышался лязг открывающихся замков. Из узкой щели пробился сдавленный голос – не звоните, его вчера взяли. И дверь со страхом захлопнулась.

Валечкина жизнь была разбита: она любила своего профессора. Рыдала две недели, одна бродила по Москве, сидела на Тверском бульваре возле его дома, смотрела на окна, где они были так коротко счастливы. Из глаз текли горячие слезы, и хорошенькая черненькая головка в отчаянии падала на пухленькие ручки.

Синее газовое платье было снято – навсегда – и печально покачивалось на вешалке в шкафу. Его заменила толстовка и парусиновые белые тапочки.

Прошло несколько лет. На горизонте жизни появился жених. Он был в военной гимнастерке, сапогах и представлял партийную верхушку. Армянин. После

геноцида 15-го года множество представителей этой нации бежало в Москву. Он до потери пульса влюбился в пухленькую Валечку. Его безграничная широта пленила всех членов семьи. Он приходил в дом с пакетами, саквояжами, коробками, набитыми колбасами, сырами, сладостями, вином и всякой всячиной. Бабкен с Валечкой то и дело сидели в партере Театра Вахтангова, не пропуская ни одной постановки с участием Рубена Симонова. В 1938 году в октябре у них родился мальчик. Весь роддом был завален хризантемами! Как же! У Бабкена родился сын! В честь Рубена Симонова назвали его Рубенчиком. Жизнь входила в колею.

Но колея внезапно оборвалась. «Ах, война, что ж ты, подлая, сделала?» – разлучила Валечку с Бабкеном! Его послали на лесоповал – рубить лес. Она осталась одна с сыном в Москве. Немцы уже отступали, был 1943 год, весна, и Валечка влюбилась. Она недолюбила. Ей все мерещился на улицах Москвы Профессор истории, и она встретила похожего на него Архитектора. Чувства были так бурны, поднимали ее вверх от земной обыденности и пошлости, и ей казалось, что она опять парит в синем газовом платье по Тверскому бульвару. Она ночами стояла на коленях в молитвенной позе, сложив ручки перед грудью, и, закатывая «глаза на образа», молила Бога, в которого

она не верила (а кого еще просить-то в таких случаях?), чтобы он подарил ей дочку. И Он подарил. Бог всех любит. Подарил девочку, Танечку.

Как водится в таких случаях, и с мужем все разладилось, и Архитектор исчез. Исчез Архитектор – так напоминающий, ну так напоминающий Профессора истории!

Родители умерли. И осталась Валечка совсем одна с двумя детьми – без мужа, без любви, без поддержки... без синего газового платья. Оно исчезло из ее жизни навсегда.

Валечка после разбитой жизни потеряла управление. Нервная система, как лодка без весел, моталась в шторме жизни. Окончив работу, она прибегала домой (они все бегали, прибегали, опаздывали, неслись, не успевали, торопились).

Задушенные эмоции искали выхода – на пол, в стены, в потолок кидались тарелки, чайники, хлебницы. Опытные ребята только успевали ловко уклоняться от летящих в них предметов, прячась под большой квадратный дубовый стол с резными ножками. Волна бешенства проходила – они весело садились за стол, ели винегрет, котлеты, пили чай. Валечка читала им стихи Пушкина, Есенина и любимого Апухтина – «Сумасшедший». Потом убирала со стола, бежала в кухню, дети с посудой бежали за ней, и она на бегу на

всю квартиру кричала:

– Все! К чертовой матери! Устала!

Потом она бежала по длинному коридору коммунальной квартиры обратно в комнату, дети бежали за ней, она валилась на кожаный диван и, как со сцены, опять громко кричала:

– Пур этр белль иль фо суффрир!

Дети давно выучили репертуар своей мамочки и могли перевести: «Чтобы быть красивой – надо много страдать!» А Танечка добавляла: «Чтобы быть красивой, ешь селедку с черносливой!» А Рубенчик провоцировал, хитро увлекая мамочку от накатывающейся опять волны бешенства: «Станцуй что-нибудь нам!» Ребята взбирались на диван, а Валечка, сублимируя бешенство в «движенье, движенье», начинала танцевать. Уже наготове в шкафу был реквизит, и она в красном халатике, как заводная кукла, улыбаясь, с тросточкой, в шляпе отплясывала чарльстон. Потом, выдохнувшись, бросала атрибуты в сторону и шла в медленном «Во саду ли, в огороде». На «сладкое» было «Пламя революции» из репертуара Айседоры Дункан. Потом с восклицанием: «Все! К чертовой матери!» – ложились спать.

...Утром Танечка с Рубенчиком бежали в школу. Рубенчик на ходу гладил еще сырой белый воротничок

и манжеты и длинными стежками второпях пришивал к Танечкиной форме. Галопом возвращались из школы и всем двором, с хулиганом по прозвищу Хрюшка, бежали в кинотеатр «Уран». Хрюшка умел так раздвинуть толпу, что все дворовые проходили без билетов. Смотрели «Великий воин Албании Скандербег», «Тарзан». Внутри все визжало и рвалось от восторга. Сорвавшись с мест, после сеанса неслись опять во двор, и в этот же вечер у них поселялись три кошки – Чита, Акбар, Тарзан и блошистый и шелудивый рыженький пес Гарик. Валечка прибежала с работы, мыла всех «героев фильма» в тазу с ядовитой жидкостью, вытирала их полотенцем, на полу делала постельку, и они оставались там жить. Душа у Валечки была на редкость добрая, сердце – отзывчивое, ум – оригинальный, но – нервы! Не приведи господи! «Все васильки, васильки...»

Зимой на катке в Парке культуры и отдыха имени Горького вся Москва каталась на коньках. Кто по одному – на ножах, руки сзади, кто парами, схватившись руками крест-накрест впереди, кто шеренгой – вчетвером под ручки. Танечка с Рубенчиком гоняли по дорожкам парка на гагах под веселую музыку «Рио-рита», откусывали вкусные булочки с кремом, и Танечка думала: отчего люди не летают по льду, на коньках всю свою жизнь? Ах, как хочется всю жизнь скользить

на коньках с ветром, с булочкой в зубах под бодрящую музыку «Рио-риты»! Но тут подходил толстый голый морж и, разбивая Танечкины мечты, жахал басом:

– Мальчик, отойди с дороги, я сейчас буду нырять.

И плашмя, животом, плюхался в прорубь Москвы-реки.

У Валечки есть «друг», но он побудет, побудет и исчезает, потом появляется новый «друг» – побудет, побудет и снова исчезает, потом новый «друг», потом опять исчезает... Сначала «друг» внимательно разглядывает Валечкину античность – Венеру, Аполлона Бельведерского, Амура и Психею, а потом проходит время, и он со скукой водит глазами и по античности, и по Валечкиному лицу, и у Валечки все чаще и чаще проявляются взрывы то восторга, то бешенства.

«Друг» всегда приглашал Валечку в театр. Она с работы – бегом, бегом, бегом – переодевалась в панбархатное черное платье и, стуча каблуками по комнате, носилась из угла в угол. То накрасит помадой рот перед зеркалом, то вытянет нос, мол, для красоты, и три раза поменяет прическу, нервно душитесь духами «Красная Москва». И дает указание домработнице Шуре – все грязно, плохо сготовлено, дети должны вовремя лечь спать! Все! К чертовой матери! Хлопает дверью и бежит с «другом» на спектакль. Тут же домработница Шура бежит к окну, открывает его, сви-

стит, врывается ледяной ветер, и тоже начинает бегать: бежит к шкафу, достает рюмки, тарелки, вилки, из кухни бегом несется с кастрюлей вареной картошки. Тут же вбегают в комнату по свисту ее подруга, тоже домработница из деревни, и два оледенелых милиционера. Они быстро сбрасывают шинели, садятся за стол, на столе появляется бутылка водки, они наливают, едят, крикают, смеются. Рубенчик и Танечка стоят в своих кроватках, как в ложе театра, и с восторгом наблюдают происходящее. Вдруг милиционер посмотрел на висящие на стене часы.

– Когда она придет? – спросил он с опаской.

– Да ёхный тьятр ешо не скоро кончится! Наливай! – ответила домработница Шура.

Они пьют еще по стопке и замолкают.

– Сугрелись, – говорит другой милиционер. Шура, подлизываясь к Рубенчику, обращается к нему с просьбой:

– Рубенчик, почитай нам книжечку!

Рубенчик только и ждет этого момента – выступить! – и хватает книжку – Горький, Клим Самгин – и начинает выразительно читать им «Жизнь Клима Самгина». Все возбуждены и в восторге от проведенного вечера. В прошлый раз было – «Челкаш и Мальва отдыхали в тени городского писуара». Бьют часы. Милиционеры и домработница исчезают, Шура носит-

ся по квартире: моет посуду, все ставит в шкафчик на место, замечает следы. Хлопает входная дверь! Все трое – Шура, Рубенчик и Танечка – ныряют с головой под одеяла и делают вид, что давно спят. Валечка, воодушевленная после спектакля, ложится в постель, мечтательно и с надеждой смотрит на Амура и Психею, вздыхает и долго не может уснуть.

«Литература, свежий воздух, спорт, режим, фрукты!» – кричит мать своим детям. Ее зарплаты хватает на неделю – она не умеет обращаться с деньгами. Но в день зарплаты она забегает в букинистический магазин, приносит домой стопку книг, бросает их на стол с возгласом: «Читайте скорей!»

Денег опять не хватит до зарплаты, и придется книги сдать и на эти деньги доживать. Скоростной метод образования. Так дети прочли всю русскую, французскую, английскую, немецкую классику.

Зимой в январе уже темно, девятилетние ребята во главе с Танечкой – она мальчишница и заводила – бегут в пургу, суча локтями, на Красную площадь. Красная площадь пуста, только вертится клубами снег. Горит кремлевская звезда. Стайка ребят подбегает к Мавзолею Ленина – там как вкопанные стоят часовые. Почетный караул. Ребята, хихикая в мокрые варежки, делают скорбные лица и один за дру-

гим входят в двери Мавзолея. С двух сторон лестница, а посередине – гроб с телом. Он во френче, руки по швам, как на перекличке. Ребята становятся в каждом углу гроба и, облокотившись на мраморный парапет, внимательно разглядывают черты «дедушки Ленина». Глазки, бровки, носик, ротик – выглядит он плохо под желто-зеленым освещением. Идет игра на спор. Все боятся посмотреть друг другу в глаза. Там таится взрыв смеха, и кто первый засмеется – платит рубль! Первая всегда начинает смеяться Танечка, она очень смешливая и всегда платит рубль. И тут начинается нечто: стоят часовые, не моргнув глазом, а ватага детей, впившись в лицо гегемона, начинает не смеяться, а ржать. С этим ржанием маленькие диссиденты выскакивают на улицу и кричат:

– Танька, с тебя – рубль! – и опять бегут, суча локтями, по Кировской улице, к метро.

Там Танька клянчит у прохожих:

– Тетенька... дайте пятнадцать копеек... маме позвонить!

Так быстро набирается рубль, и вся ватага кидается к лоткам с мороженым, засыпанным снегом, которые в два ряда стоят у метро, и наступает минута счастья – у кого эскимо, у кого – вафельный стаканчик, кто облизывает крем-брюле пополам со снегом. Они стоят в кучке, опять ржут и договариваются, когда в следу-

ющий раз побегут на Красную площадь смотреть на Него, смеяться и есть мороженое.

«Самое страшное – это КГБ», – с ненавистью повторяла Валечка. Эта организация убила ее Профессора истории и столько, столько невинных, столько поломала жизней... Время, одиночество, болезни так изменили Валечку. Нет уж тех бархатных глаз, пухлого локотка, все сжалось, подсохло, повисло – старость! И нет покоя душе – там все «васильки, васильки, васильки». Валечка умерла, и, когда Танечка разбирала оставшиеся ее вещи, вдруг нашла маленькую деревянную шкатулку, а там – Амур и Психея и кусочек от воздушного синего газового платья. Это история моей семьи.

Глава 18. Палки в колеса нашей любви

Чайхана! Что за чудо эта беседка с голубым куполом. Тихо журчит восточная музыка, в маленьких приталенных стаканчиках подают чай и на блюдечке колотый белый сахар. Вокруг круглого стола нас восемь человек. Тропическая жара – 40 градусов в тени. Мы пьем уже десятый стакан чая, по ногам стекают струйки пота, становится прохладнее. Вечером концерт перед солдатами. Терпкий запах их гимнастеров и какой-то особый звук аплодисментов, исходящий от мощных и грубых ладоней. Азербайджан.

Каспийское море цвета выцветшей бирюзы – вода густая, соленая, волны тугие, ленивые. Нам приносят ведра тройной ухи – скрученные в жирные завитки куски осетрины и севрюги. Горы, ущелья, горные реки. В одном из ущелий на прогулке моя приятельница-актриса попала ногой в капкан. Господи, как она кричала! Никого поблизости не оказалось. Я с испугу схватила этот железный капкан руками и разодрала его. Нога была спасена.

Военная часть – в степи, в чистом поле, ни одного деревца. Огороженная колючей проволокой. Маленькое одноэтажное здание – Дом культуры. Здесь мы

будем три дня давать концерты. Возле окон маячат восточные мальчишки с большими черными глазами, прыгают, как мячики, и кричат, как будто нас дразнят: анаша, анаша, анаша! Мы не понимаем, что значит это слово.

Днем восточный пестрый шумный базар. Горы красных и желтых перцев, дыни, арбузы, восточные сладости... Влажные и черные глаза продавцов хитро и ласково смотрят на нас, предлагают товар, незаметно открывают белую тряпочку, а там – папиросы.

– Хочешь анаша? Попробуй анаша! Хорошая будет!

Незаметно мы покупаем две папиросы и прячем в надежное место. Вечером, после концерта, маленькой кучкой тайком от всех мы собираемся в туалете (если кто-нибудь узнает из фискалов и партийных – напишут, затаскают, уволят) и по кругу курим анашу. Накурившись, вышли на улицу, сели на ступеньки и, как сейчас говорят наркоманы, «ждем прихода». Началось! Перед нами возникли дивные видения: джунгли, лианы, пальмы, море, и радость подкапывает вместе с волнами, смех, счастливый, глупый, наркотический смех. Эйфория!

Но на этом выход, «выход за границу», не кончается. Нас приглашают на винный завод – на экскурсию. Начинается экскурсия с дегустации вин в подвалах из деревянных бочек, а их сотни... Кончается или,

вернее, качается экскурсия в лаборатории – тоже дегустацией, только из колб и мензурок. Жара, истома, дары Бахуса, оторванность от Москвы склоняют молодых артистов к дегустации противоположного пола. Инженю – внешне моя приятельница, а под этим словом ненависть соперницы и «погубить!» – глагол, который терзает ее день и ночь. Мы живем в одной квартире несколько человек, и незаметно она со смехом и алкоголем подпихивает, подпихивает ко мне воспаленного жарой Востока артиста. Я вовремя сориентировалась и немедленно уехала из квартиры. Стала жить на сцене военного клуба, где мы выступали.

Беззаботность, странничество, экзотика Азербайджана, чайханы, горы дынь, арбузов, море, благодатная жара оторвали меня от московских мучений, принесли здоровье и успокоение. Загорелая, лежала на берегу Каспийского моря и дала себе слово: не зависеть от своей любви к Андрюше, освободиться от его захватнической тактики, и если он меня не любит (в чем я сильно сомневалась) – тем лучше. Я свободна. С нового сезона начинается новая жизнь!

...Новый сезон, 1967 год, август. Все возбужденные, нарядные. Андрей пришел в усах, сидел поодаль от всех и казался грустным. В буфете подсел ко мне с двумя чашками кофе: он не мог видеть спокойно мою

независимость, мой загар, мою веселость без него. И начал процесс захвата.

– Поедем на Петровку? Пообедаем?

– Нет. Не поеду. Спасибо.

– Поедем... на Волков.

– И на Волков не поеду.

– А куда ты хочешь?

– С тобой никуда не хочу. Зачем? Чтобы ты мне опять печень клевал?

– Танечка, это глупо, забудь все! Ты же не Прометей!

– Забыть? Нет. Я знаю, что ты воспитанный человек из очень хорошей семьи: знаешь, что нельзя хлопать дверью лифта, знаешь, что надо пропускать старших вперед, дамам целовать ручки, но ты не знаешь, что существует закон бумеранга! Ты погибнешь, если будешь сознательно причинять боль близкому человеку. Этому тебя родители не научили. Это садизм! А я не хочу боли.

Сказала и резко встала из-за стола. «Мне снилось, мы умерли оба!» – речитативом произнес он цитату из Гумилева, сдерживая бешенство. Схватил меня двумя руками за плечи и водворил обратно на стул. Вдруг, поменяв регистр, нежно объяснил:

– Маленькая моя, я так без тебя скучал! – В глазах отчаяние. – Ну прости меня, прости, пойдём на Пет-

ровку, в «Будапеште» купим что-нибудь в кулинарии, выпьем, съедим, я тебе подарок привез из Пярну.

– Что ты мне привез?

– Пойдем, увидишь, тебе понравится.

Начались репетиции «Бани» Маяковского. И «Клопа» и «Баню» Чек ставил когда-то с Юткевичем и Петровым, когда был еще подмастерьем, а сейчас, имея хорошую память, пользовался талантом больших мастеров, тиражируя эти постановки. Премьера посвящалась 50-летию революции, и этим жестом он не упускал возможность лизнуть советской власти к великому празднику 7 Ноября. Андрей репетировал Велосипедкина, а мы – молодая поросль – были заняты в «униформе», как в цирке. В красных кепках, в красных брючных костюмах выстраивались шеренгой вдоль всей сцены – это начало спектакля. Перед нами на авансцену в батмане выскакивал Андрей в лихом кепаре, в драном свитере, с бабочкой на шее.

– Я пойду на все! – кричал он в зал. – Я буду грызть глотки и глотать кадыки! Я буду драться так, что щеки будут летать в воздухе!

После репетиции Чек, проходя мимо меня, всегда бросал мимолетно: «Зайди ко мне в кабинет».

Меня это взвинчивало, конечно, я не заходила, я знала – зачем это «зайти», и бесконечные повторения предложений с его стороны становились угрожающи-

ми.

Стоял октябрь. Однажды после спектакля «Дон Жуан» Чек стоял внизу в раздевалке и ждал нас с Андреем.

– Ну что? Гульнем? Поехали ужинать в Дом журналистов – я приглашаю, – сказал молодцевато Чек.

Мы поймали такси и через десять минут оказались за столиком Домжура. Ах, как вкусно кормили: нам подали горячие калачи с черной икрой, миноги, ассорти из рыбы с маслинками, шампанское. Чек закурил сигаретку и «взял площадку»: «По морям, играя, носится с миноносцем миноносица. Льнет, как будто к меду осочка, к миноносцу миноносочка». Прочитал он Маяковского, прищурившись, глядя прямо мне в глаза. Положение двусмысленное – явно он за мной приударяет, рядом – Андрей, не дурак, все понимает, а ничего сказать и сделать нельзя, придраться не к чему. А, наоборот, только «спасибо» за оказанное нам внимание. Чек продолжал гормональную атаку: рассказывал о художниках Модильяни, Босхе, Сальвадоре Дали. Я с интересом слушала, потом внимание мое куда-то съехало в сторону, и я стала «примерять» ему головные уборы. Для начала решила примерить лыжную шапочку с помпоном – и пошел бы ты по лыжне куда-нибудь подальше! Шляпа с полями с пышным пером – Атос, Портос и Арамис – карикатура на геро-

ев Дюма. Нижняя часть лица – тупой нос с широкими ноздрями и мясистая область под носом выдают низменную натуру. Торговец тканями в палатке провинциального города – на затылке засаленный берет, за ухом карандаш и сатиновые нарукавники! А еще лучше – медный таз на голове... Накрываю его медным тазом – душка, вдруг слышу:

– Основоположник футуризма – течения, к которому принадлежал Маяковский, Маринетти!

Боже мой, какой образованный! Не забыть, не забыть – Маринетти!

На следующий день он, как черный ворон, ждал нас опять внизу, в раздевалке. Опять мы ехали в Домжур. Как-то после очередного ужина с «художниками и футуристами» мы вышли вечером на улицу. Под ногами шуршали желтые листья, и Чек, не глядя на Андрея, как будто его не было, заявил мне:

– Я сейчас поймаю такси и довезу тебя домой, мне все равно на Кутузовский.

Я вопросительно посмотрела на Андрея.

– Я пошел, – сказал он сухо. И, сгорбившись, стал удаляться.

Я села в машину на заднее сиденье, он устроился рядом. Доехали до Спасо-Хаус. Он вышел из машины, элегантно подал мне руку, я поблагодарила его за ужин, за то, что он так любезно подвез меня до-

мой. Огромный тополь шумел над нами желто-зелеными листьями.

– Я тебя люблю! – порывисто и романтично воскликнул он и впился мясистыми губами в мои губы. – Поедем ко мне: моя жена в Ленинграде!

– Меня ждет мама! – только могла выдохнуть я и – бегом к своему подъезду. Запыхавшись, влетела в квартиру, бросилась к телефону: – Андрюша, я – дома. Как ты добрался? Я беспокоюсь! Старик? Старик уехал домой! Кто он? Плейбой на пенсии? – И мы залились смехом. – Спи спокойно. Люблю тебя. До завтра.

В августе, когда еще цвели флоксы, мы втроем ездили на дачу. Мария Владимировна, Андрюша и я. Менакер отдыхал в санатории «Пярну». По дороге Андрюша все время апеллировал к маме:

– Мама, скажи Тане, чтобы она не красилась. Куда ты так намазалась? Ты же на дачу едешь!

– Я люблю рисовать, у меня брат художник, мама хорошо рисует. Когда состарюсь, тогда не буду краситься, а в молодости все можно...

– Мама, ну скажи ты ей, что она лучше, когда ненакрашенная.

Мама выдерживала паузу и весомо произносила:

– Я не видела ее ненакрашенную.

Приезжали на дачу.

Походив по саду, Андрей садился в шезлонг, через пять минут вскакивал, шел под душ, вдруг спохватывался, говорил, что у него съемка, он совсем забыл, выпивал чаю с плавленым сыром, мыл машину, спичкой выковыривал соринки в основании стекла, говорил, что ему срочно надо ехать в Москву и он приедет за мной завтра вечером.

Мы оставались вдвоем с Марией Владимировной. Она все время молчала и испытующе глядела на меня в упор. Я сразу бросалась к плите – чаек, конфетки... А какие вы любите? Никакие? А я люблю лимонные дольки...

– У меня нет ни доль, ни долек, даже лимонных, – отвечала она, отхлебывая чай и не сводя с меня глаз.

– Дождь, наверное, пойдет... – начинала я новую тему.

– Пойдет... вам за лимонными дольками...

– Вы сами яблони сажали? И не только яблони – весь сад? И все эти елки у забора? За сколько же лет они так выросли?

Она молча смотрела сквозь меня, я внимательно смотрела на нее и ждала, что она скажет.

– Убейте муху! – говорила она поставленным низким голосом.

Потому что муха в ее доме – это трагедия. И я, гоняясь за мухой, думала: «Господи, хоть бы подольше мне ее не поймать, чтобы убить время и с ней не разговаривать». Муха была убита – на ее лице появилось одобрение. Она шла в комнату, садилась в кресло и молча смотрела в стену. Я садилась невдалеке, не знала, на какой козе к ней подъехать, и тоже молчала. Проходило время, пока она опять не требовала поставленным голосом:

– Убейте муху!

Я убивала муху, опять на ее лице появлялось одобрение. Наступала ночь – слава богу, пора спать!

Рано утром, чуть только светало, я крадучись выскакивала из дома с корзинкой и шла в лес за грибами. Дышала вольным воздухом, пела и чувствовала себя счастливой. Ощущение освобождения после тяжелой неволи.

Как они с ней живут? Не понимаю! Какая она тяжелая! – рассуждала я, радостно срезая боровики и подосиновики в росистой траве. Приходила, когда она уже встала – на веранде вертела головой вперед-назад, влево-вправо, потом маршировала на месте, высоко поднимая колени и энергично двигая локтями. Она выглядела очень смешной – маленькая, полненькая, и впереди торчал бойцовский нос.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.